ДЕНИС ГРОМОВ



КУЛЬТУРНЫЙ СЛОЙ

ТОМ 1

Денис Громов

Культурный слой

«Тайниковский»

2026

Громов Д.

Культурный слой / Д. Громов — «Тайниковский», 2026

Археолог Глеб Седов погибает под завалом в 2026-м — и приходит в себя в 1971 году, в теле шестнадцатилетнего Кости Рябинина. Мальчик был замешан в незаконных раскопках кургана и погиб, а в его кармане — золотой скифский олень, за которым охотятся и милиция, и криминальные дельцы. Теперь Глебу нужно выжить в чужой жизни: притвориться школьником, распутать клубок музейных подмен, спасти древний курган от бульдозера — и не влюбиться в девочку с косами и чернильным пятнышком на пальце. Но главное — он должен понять: это не просто чужое тело. Это чужая жизнь, которую кто-то оборвал слишком рано. И теперь Глеб — единственный, кто может довести до конца дело, начатое мальчиком по имени Костя.Детектив в декорациях советской провинции, история о второй жизни и о том, что земля помнит всё. Даже то, что мы хотели бы забыть.

© Громов Д., 2026
© Тайниковский, 2026

Содержание

Глава 1 5
Глава 2 11
Глава 3 18
Глава 4 25
Глава 5 32
Глава 6 39
Глава 7 46
Глава 8 52
Глава 59
Конец ознакомительного фрагмента. 60

Денис Громов
Культурный слой

Глава 1

Ростов-на-Дону, четверг, 14 мая 2026 года. Стройплощадка на Левом берегу.

Прораба звали Артуром, и за три недели я так и не выяснил, есть ли у него отчество. На раскопе он появлялся дважды в день: утром - с кофе в бумажном стаканчике, после обеда - с планшетом, где светился график сдачи котлована. Красная полоса на экране ползла вправо, и Артур искренне считал, что виноват в этом лично я.

- Глеб Андреич, ну какие ещё две недели? - он развернул ко мне экран. - В понедельник заходит сваебойка. Техника стоит, люди стоят. Вы представляете, сколько стоит смена?

Представлял. За сорок полевых сезонов этот монолог звучал при мне столько раз, что я мог бы исполнить его вместо Артура, с правильными паузами и тем же обиженным лицом. Менялась только валюта. В девяностые прорабы считали в долларах, в нулевые - в рублях с тремя нулями, теперь вот в сменах.

Я стянул перчатку и показал на тёмное пятно в зачищенном борту траншеи.

- Видите, где заканчивается жёлтый суглинок? Вот это бурое, с прожилками, - заполнение входной ямы. Под пятым корпусом у вас катакомба. Бронзовый век, середина третьего тысячелетия до нашей эры. Её надо доснять, расчистить камеру и задокументировать. Иначе застройщик получит предписание, а вы - штраф, рядом с которым ваша сваебойка покажется семечками.

Артур наклонился к пятну, словно надеялся разглядеть в нём ценник.

- Грязь какая-то.

- Грязи этой четыре с половиной тысячи лет, - я натянул перчатку обратно. - Её туда насыпали люди. Руками, корзинами. Пока вы строите свой паркинг, у меня есть время до них докопаться.

- До понедельника успеете?

Вопрос был нечестный, и мы оба это знали. По-хорошему, катакомбу надо было вскрывать неделю, с креплением стенок и нормальным водоотливом. Только эти работы застройщик не оплатил. Смета на охрану памятника прошла через три кабинета и вернулась ко мне ощипанной, как курица к Новому году. Студентов у меня было двое, лопат пять, а вместо водоотлива - ведро с верёвкой.

- Успеем, если не будете мешать.

- Я? Мешать? - Артур даже отступил на шаг. - Я вам вчера воду привёз, две бутыли!

- За воду спасибо. А в понедельник пришлите вместо сваебойки экскаваторщика потрезвее. Ваш нынешний позавчера чуть не снёс мне репер.

Артур ушёл довольный. Он всегда уходил в хорошем настроении: у прорабов профессиональная способность слышать только последние слова фразы.

Миша и Аня сидели на краю траншеи и пили из одной бутылки тёплую газировку. Обоим по двадцать, оба пятый курс, оба третью неделю ночуют в вагончике бок о бок с бетономешалкой. Аня сгорела ещё в первые дни и теперь работала в моей старой панаме, которую я когда-то привёз из Тувы. Панама была ей велика и съезжала на нос.

- Глеб Андреич, мы правда к понедельнику? - Миша смотрел на меня с тем недоверием, которое у студентов появляется к концу третьей недели. - Там же ещё метра полтора до дна ямы.

- Метр сорок, - поправил я. - Если повезёт, завтра к обеду выйдем на свод камеры.

- А если не повезёт?

- Тогда к ужину.

Аня засмеялась и сдвинула панаму на затылок. Хорошая девочка, внимательная, с правильными руками. Через десять лет из неё получится толковый полевик, если её раньше не съест какая-нибудь контора по экспертизам, где платят втрое больше и не надо спать рядом с бетономешалкой.

До шести мы выбрали из ямы ещё сантиметров сорок. Заполнение шло ровными линзами: сначала тёмная гумусная прослойка, потом выкид из самой ямы, жёлтый с серыми комками. На сороковом сантиметре Аня нашла кусок охры размером с грецкий орех и полчаса не могла успокоиться. Охра - хороший знак. Значит, мы рядом с погребением, а не в пустой хозяйственной яме.

В шесть я отпустил ребят. Работать в траншее глубже трёх метров втроём было уже тесно, а вдвоём, без меня, по технике безопасности нельзя. В эти правила я, честно говоря, верил примерно как в гороскопы, но студентов на них гонял исправно. Ответственность за чужих детей - единственное, что за сорок лет так и не стало для меня рутиной.

- А вы? - Аня задержалась у лестницы.

- Сниму профиль и тоже пойду.

- Вам же нельзя одному.

- Мне много чего нельзя, - я махнул ей рукой. - Кофе, сало, ругаться с начальством. Иди уже.

Она ушла, оглядываясь.

Солнце сползало к Дону, и по дну траншеи тянуло сырым холодом. Неделю назад здесь два дня лил дождь, борта до сих пор не просохли. Суглинок на срезе был влажный, тёмный, и вода из него проступала мелкими каплями, как пот. Я отметил это машинально, как отмечают погоду, и спустился в яму.

Профиль я так и не снял.

На дне ямы, у самой западной стенки, из заполнения торчал край чего-то светлого. Сначала я принял его за камень, потом присел и понял, что это кость. Нижняя челюсть, детская или подростковая, с зубами, лежала сбоку от входа в камеру. Так в катакомбах иногда хоронили второстепенных покойников - у порога, как сторожей.

Ну вот. Камера ближе, чем я рассчитывал.

Я взял кисть, совок и потерял счёт времени. Это со мной случалось всегда, сколько себя помню. Жена в шутку называла это «уйти в слой». Наденька умерла шесть лет назад, и шутить об этом стало некому, а уходить в слой я не перестал.

В кармане завибрировал телефон. Я вытащил его грязными пальцами и посмотрел на экран. Вера.

Дочь звонила мне раз в месяц, по воскресеньям, ровно в восемь вечера, и разговор каждый раз занимал одиннадцать-двенадцать минут. Я как-то засёк. Сегодня был четверг.

Палец уже потянулся к зелёной кнопке, когда сверху, над правым плечом, что-то тихо и сухо хрустнуло. Звук был знакомый. Я слышал его трижды за всю жизнь и всякий раз успевал отскочить.

Сейчас отскакивать было некуда. Яма шириной в метр, борт высотой почти четыре.

«Перезвоню сверху», - мелькнула глупая мысль.

Потом стало темно и тяжело. Земля пахнет одинаково в любом веке. Это последнее, что я успел подумать.

***

Сарматовск, ночь со вторника на среду, 6–7 апреля 1971 года. Курганы у Гнилой балки.

Кто-то тянул меня за ноги.

Тянул грубо, рывками, и каждый рывок отзывался в рёбрах. Рот был набит землёй. Я попытался вдохнуть, подавился и закашлялся, и от кашля земля полезла ещё глубже, в горло, в нос. Тело дёргалось само, без моего участия, как рыба на дне лодки.

Потом в лицо ударил холодный воздух.

Я лежал на спине и кашлял. Кашлял так, что из глаз текли слёзы, а изо рта летели комья суглинка. Надо мной висело небо, чёрное, густое, и звёзд на нём было столько, сколько я не видел с последней экспедиции в Монголию. Над Ростовом таких звёзд не бывает, там вместо них рыжая подсветка от торговых центров.

- Живой? Костька! Живой, паразит?

Надо мной нагнулся старик. Фонарь у него в руке плясал, и свет прыгал то мне в лицо, то куда-то в сторону. Я успел разглядеть ватник, шапку-ушанку с одним опущенным ухом и щетину на подбородке, седую, как изморозь на стерне.

Старик ударил меня по щеке. Не сильно, но ощутимо.

- Дыши! Ну! Дыши, кому говорю!

Я дышал. Получалось плохо, со свистом, но получалось. Лёгкие горели, в груди что-то булькало. Старик подхватил меня под мышки, усадил и принялся колотить ладонью по спине. Ладонь была твёрдая, как доска.

Из меня вылетел ещё один комок земли, и стало легче.

- Во-от, - старик перестал колотить. - Во-от так. Всё. Всё, дурень. Вылез.

Голос у него дрожал. Не от холода. Я слишком часто слышал, как дрожат голоса у людей, которые только что разминулись со смертью, чтобы спутать.

Первая связная мысль была профессиональной: меня откопали. Кто-то из рабочих услышал обвал, позвал народ, меня выдернули из ямы. Повезло. Сколько я пролежал? Минуту? Две? Больше трёх минут под землёй не живут.

Вторая мысль была уже не такой связной. Почему темно? Обвал случился около восьми вечера, а в середине мая в это время в Ростове ещё светло.

И почему этот старик зовёт меня Костькой?

Я повернул голову. Шея слушалась плохо, будто её смазали песком.

Рядом с нами, в боку высокой земляной насыпи, чернела дыра. Узкая, неровная, в которую с трудом пролез бы взрослый мужчина. Края её осыпались, и свежая земля лежала веером на прошлогодней траве. Чуть в стороне валялась брошенная лопата с коротким черенком. Дальше, в свете пляшущего фонаря, я разглядел ещё одну вещь, и от этой вещи мне стало холоднее, чем от ночного ветра.

На земле лежал щуп. Длинный стальной прут в палец толщиной, метра под два, с поперечной ручкой наверху. Таким прощупывают грунт на глубину, пока он не упрётся во что-то твёрдое. В камень. В дерево. В перекрытие погребальной камеры.

Этот инструмент я знал очень хорошо. Не по учебникам. В девяносто седьмом, под Новочеркасском, мы с милицией накрыли бригаду, которая разрыла за лето одиннадцать курганов. У них было три таких щупа и самодельный металлоискатель на батарейках от фонарика. Щупы потом лежали у нас в лагере как вещдоки, и практиканты фотографировались с ними для своих девушек.

Насыпь, из которой меня вытащили, была курганом. Дыра в её боку - грабительским лазом. Копали с юга, наискось, чтобы выйти к центру под насыпью. Копали наспех и без всякого крепления. Совсем как я свою катакомбу.

Смешно. Если бы не было так страшно, было бы очень смешно.

- Ты чего тут забыл ночью, а? - старик вытер мне лицо рукавом. Рукав пах соляркой и махоркой. - Я ж тебе русским языком говорил: не лазь на курганы. Говорил?

Я открыл рот, чтобы ответить, и закрыл. Ответа у меня не было. Зато был вопрос, и он вытеснил из головы всё остальное.

Руки.

Я поднял их к фонарю. Чужие руки. Узкие запястья, тонкие пальцы, ногти обгрызены до мяса, на костяшке левой - свежая ссадина. Ни пятна на тыльной стороне ладони, ни шрама от штыковой лопаты, который я заработал на первой своей практике в восемьдесят третьем году. Ни обручального кольца, которое я так и не снял после похорон.

Это были руки мальчишки.

- Ну? Чего молчишь? - старик посветил мне в лицо. - Головой приложился? Сколько пальцев?

Он выставил передо мной три пальца, толстых, с плоскими жёлтыми ногтями.

- Три вроде, - голос, который ответил, был не мой. Высокий, ломающийся, с петушиной трещинкой на конце.

- Ну хоть считать не разучился, - проворчал старик и опустил фонарь. - Деда-то узнаёшь?

Я смотрел на него и не узнавал. Вернее, видел в нём тип, который встречал в каждой второй степной деревне: фронтовое поколение, сухое и крепкое, как саксаул. Таких стариков я помнил по своим первым экспедициям, когда они ещё были живы и приходили на раскоп поглазеть, а потом приносили нам, студентам, ведро огурцов. Им тогда было по шестьдесят. Как мне сейчас.

Как мне было.

- Узнаю, конечно, - соврал я, потому что любой другой ответ прозвучал бы ещё хуже.

Старик хмыкнул недоверчиво, но допытываться не стал. Он снял с себя ватник, оставшись в толстом свитере с латками на локтях, и набросил его мне на плечи. Ватник был тёплый изнутри и тяжёлый, как бронежилет.

Где-то за курганом, со стороны балки, затарахтел мотор. Луч фары прыгнул по верхушкам бурьяна, качнулся, пропал за насыпью и вынырнул уже совсем близко. К нам, переваливаясь на кочках, подъехал мотоцикл с коляской. Мотор чихнул и заглох.

С мотоцикла слез человек в шинели и фуражке. Фуражка в апрельскую ночь - это было что-то из военного кино. Человек снял перчатки, сунул их в карман и подошёл, светя перед собой фонариком.

- Нашли, Семён Ильич? - голос молодой, напряжённый. - Цел?

- Нашёл, - дед поднялся с колен, и у него хрустнули суставы. - Цел вроде. В нору эту залез, дурак, а нору завалило. Хорошо, ноги снаружи торчали. Я по ногам и отыскал. Сапоги его.

Милиционер посветил на дыру в кургане, потом на меня, потом снова на дыру. Лет двадцать семь, лицо круглое, усталое, на плечах шинели две маленькие звёздочки. Лейтенант.

- Это ж кто такое выкопал? - он присел у края лаза и потрогал рыхлый выкид пальцами. - Это не за одну ночь, Семён Ильич. Тут кубов пять вынуто.

- Кубов шесть, - вырвалось у меня раньше, чем я успел подумать.

Оба повернулись ко мне.

Я прикусил язык, но было поздно. Тридцать лет назад я защищал кандидатскую по методике полевой фиксации и до сих пор на глаз определял объём выкида с точностью до полукуба. Привычка сработала быстрее, чем осторожность.

- Это я так, - голос опять сорвался на петушиную ноту. - Прикинул. На глаз.

Лейтенант посмотрел на меня долгим взглядом, но ничего не ответил. Он выпрямился, обошёл лаз по кругу, освещая землю под ногами. Остановился у щупа, поднял его и взвесил в руке.

- Ого. Это не детская игрушка, - он повернулся к деду. - Ваш?

- Ты что, Виктор Палыч, с ума съехал? - дед даже шапку поправил от возмущения. - Мой?! Я тебе кто, грабитель могильный?

- Я не про вас. Я про внука.

- Внук у меня книжки читает, - отрезал дед. - Ему ведро с водой поднять - уже подвиг, а ты ему лом этот суёшь.

Лейтенант Виктор Палыч воткнул щуп в землю, как флагшток, и снова присел передо мной на корточки. Фонарик он опустил, чтобы не слепить. Деликатный. Это я отметил с благодарностью.

- Рябинин, ты с кем тут был?

Значит, Костя Рябинин. Внук Семёна Ильича, который читает книжки и не может поднять ведро. Я сложил эти три факта в одну стопку, как складывают находки в один пакет с одной этикеткой, и понял, что больше у меня ничего нет.

- Не помню, - честно ответил я.

- Как это не помнишь?

- Совсем не помню. Как сюда пришёл, как полез. Ничего.

Это была чистая правда, и, кажется, она прозвучала убедительно. Лейтенант переглянулся с дедом.

- Головой стукнулся, - вынес приговор дед. - Его землёй накрыло, он под ней сколько пролежал, кто знает. Пока я его выковырял…

- В больницу надо, - лейтенант встал. - Пусть Бондаренко посмотрит. А утром разберёмся.

- Матери-то что скажем? - дед стянул шапку и помял её в руках. - Валька и так на смене до утра. Увидит его такого, сама в приёмном и сляжет.

- Ничего не скажем. Сами привезём, сами объясним, - не согласился лейтенант и отряхнул колени. - Она медик, Семён Ильич, она крепче нас с вами.

Я понял, что если не спрошу сейчас, то потом спросить будет не у кого.

- А сегодня какое число?

Дед покосился на лейтенанта. Тот глянул на часы, наклонив циферблат к фаре.

- Без двадцати час. Значит, уже среда. Седьмое апреля.

- А год?

Пауза вышла длинная. Где-то в балке закричала птица, глупо и тревожно.

- Семьдесят первый, Рябинин, - лейтенант заговорил медленно, как с больным. - Двадцать четвёртый съезд партии идёт. По радио с утра до ночи. Тоже не помнишь?

- Совсем плохой, - дед перекрестился было, спохватился и сделал вид, что поправляет ушанку. - Вези его, Палыч. Вези, ради бога.

Лейтенант отошёл к мотоциклу, отцепил брезентовый полог с коляски и принялся его сворачивать. Дед пошёл за ним, на ходу объясняя, где у неё застёжка, которую заедает. Они стояли вдвоём в круге света от фары, а меня оставили в темноте, у кургана.

Минута. Может быть, две.

Я сидел, кутаясь в чужой ватник, и пытался заставить голову думать. Получалось скверно. Мысли расползались, как муравьи из разворошённой кучи, и каждую приходилось ловить отдельно.

Я умер. Это было ясно и почему-то совсем не страшно. Обвал, четыре метра мокрого суглинка, никого рядом. Шансов не было никаких. Вера позвонила, а я не ответил. Перезвонить сверху так и не получилось. Вот эта мысль была страшнее смерти, и я поскорее её отодвинул, потому что с ней невозможно было думать о чём-то ещё.

Я жив. Это тоже было ясно. В чужом теле, в чужой степи, рядом с чужим разграбленным курганом. Фуражка, шинель, мотоцикл с коляской, на котором нестоит ни одной иностранной детали. Ватник. Махорка. Небо без светового загрязнения. Если это предсмертный бред, то он слишком хорошо знает материальную культуру. Мой мозг за шестьдесят лет так и не научился правдоподобно придумывать даже сны.

Значит, не бред. Значит, разберёмся потом.

А сейчас надо понять, что я здесь делал. Вернее, что здесь делал Костя.

Я пошарил руками по себе, как шарят по карманам после драки. Куртка на мне была тонкая, болоньевая, мокрая насквозь и вся в земле. Под ней - свитер. Брюки, сапоги. Резиновые, короткие, на пару размеров больше нужного: дед, видимо, именно за них меня и вытащил. В левом кармане куртки - носовой платок, сопливый и смятый. В правом - огрызок карандаша и три монеты.

Во внутреннем кармане обнаружилось что-то ещё.

Тяжёлое для своего размера. Плоское. Обёрнутое в тряпочку и перевязанное суровой ниткой.

Я оглянулся на мотоцикл. Лейтенант сражался с застёжкой, дед светил ему фонарём и давал советы. На меня никто не смотрел.

Нитка поддалась не сразу. Пальцы, чужие и замёрзшие, слушались плохо. Тряпочка размоталась, и в ладонь мне легла вещь размером со спичечный коробок.

Света от фары хватило.

Олень. Он лежал, поджав под себя ноги, вытянув вперёд морду. Рога, длинные, ветвистые, шли волнами по всей спине до самого хвоста. Глаз был обозначен кружком, ноздря - запятой, копыта - маленькими каплями. Мастер не тратил ни одной лишней линии. Он знал, как выглядит олень, и знал, как его сделать, чтобы зверь был понятен с двух метров на колчане скачущего всадника.

Золото. Не латунь, не позолоченная медь, не гальваника. Я взвесил вещицу на ладони и сразу отбросил сомнения. Мягкий, тёплый, глубокий цвет, никакой зелени по краям, тонкая потёртость на рогах, где металл тысячелетиями тёрся о кожу. На обороте, я нащупал их пальцем, - две петельки для пришивания.

Скифский звериный стиль. Шестой век до нашей эры, а может, и седьмой. Нашивная бляшка с колчана или с горита. За всю жизнь я держал в руках такие вещи раз двадцать, и всякий раз в музейных перчатках, под присмотром хранителя.

Сейчас я держал её голой мальчишеской ладонью, в шаге от грабительского лаза, а в десяти метрах от меня стоял лейтенант милиции.

Картина сложилась сама. Курган грабили. Не один человек: шесть кубов земли за ночь не вынет и бригада, значит, копали несколько ночей. Сегодня дошли до камеры. Что-то нашли. А потом что-то пошло не так, лаз обвалился, и внутри остался мальчишка. Тот, кто был с ним, судя по всему, забрал фонарь и ушёл. Лопату и щуп бросил. А мальчишка… Мальчишка остался с золотом во внутреннем кармане, перевязанным суровой ниткой. Случайную находку так не заворачивают. Это вещь, которую успели взять, пока никто не видит.

Глупый ты, Костя. Глупый и смелый. Знать бы ещё, кого ты боялся больше - милиции или тех, с кем пришёл.

За шестьдесят один год я твёрдо усвоил одно: курганное золото само по себе не лежит. За ним всегда кто-то стоит. И этот кто-то обязательно вернётся за тем, что считает своим.

Отдать находку лейтенанту было бы правильно. По закону. По совести. По всем инструкциям, которые я сорок лет вбивал в головы студентов. Только я понятия не имел, кто такой этот Виктор Палыч. И кто такой этот дед. И кто стоял ночью у лаза, пока Костя лез внутрь. В городке, где все друг друга знают, грабить курганы так, чтобы участковый ничего не знал, - задача непростая.

Я не знал здесь никого. Даже себя.

Мотор мотоцикла чихнул и завёлся, застучал ровно. Я стянул правый сапог, сунул бляшку вместе с тряпочкой глубоко в носок, под пятку, и натянул его обратно. Резина была холодная и скользкая, нога влезла с трудом.

Луч фонарика упёрся мне в лицо.

- Рябинин, - лейтенант стоял в трёх шагах и не опускал фонарь. - Ты что там прячешь?

Глава 2

Сарматовск, среда, 7 апреля 1971 года. Районная больница.

Карманы у меня были пусты, кроме правого, и я сунул в него руку раньше, чем успел испугаться.

- Монеты, - я разжал кулак под лучом фонаря. - Замёрз. Считаю, чтобы не уснуть.

На ладони лежали три кружка: двадцать копеек, тусклая трёхкопеечная и большой тёмный медяк, стёртый почти до гладкости. На медяке ещё угадывался вензель и цифры. Тысяча семьсот восемьдесят какой-то год. Екатерининский пятак.

Лейтенант наклонился, подцепил медяк двумя пальцами и повернул к свету.

- Это ещё что за царские деньги?

- С огорода, - ответ сложился сам. Огород у любого степного дома за двести лет отдавал по паре таких монет за сезон, и мальчишка-нумизмат наверняка собирал их по всей улице. - Копал весной и нашёл.

- Ты ж копать не любишь, Рябинин.

- Нашёл же.

Он вернул пятак мне на ладонь и выпрямился. Фонарь наконец ушёл в сторону, и я смог проморгаться.

- Садись в коляску. Живо. И ватник запахни, пока дед не передумал.

Коляска оказалась глубокой, как корыто, и пахла бензином и мокрым брезентом. Дед подоткнул под меня полог, сам сел на заднее сиденье за лейтенантом, и мотоцикл, взревев, пополз по балке вверх. Подбрасывало так, что зубы клацали. Бляшка в сапоге давила на пятку на каждой кочке, и я зачем-то их пересчитывал, как студент шаги на нивелировке.

Наверху степь кончилась, и начался город. Если, конечно, это можно было назвать городом.

Одноэтажные дома за штакетником, тёмные окна, редкие фонари на деревянных столбах. Под каждым фонарём на земле лежал жёлтый круг, а между кругами стояла такая чернота, что фара мотоцикла упиралась в неё, как в стену. Из-за заборов на нас лаяли собаки, передавая эстафету от двора к двору. Где-то справа над крышами торчала водонапорная башня, а дальше - силуэт элеватора с огромными буквами на крыше. Букв я в темноте не разобрал, но догадывался.

Я вертел головой и не мог насмотреться. Сорок лет назад, студентом, я застал такие городки на последнем издыхании: облупленные, полупустые, с заколоченными клубами. Этот был живой. Сонный, тёмный, но живой.

Больница стояла на окраине, за высоким забором из ракушечника. Двухэтажный корпус с белёными колоннами и пристройкой, над крыльцом горела лампочка в железной сетке. Лейтенант заглушил мотор у самых ступенек, и в наступившей тишине стало слышно, как где-то позади тарахтит дизель.

Дверь распахнулась раньше, чем мы успели подняться.

На пороге стояла женщина в белом халате, накинутом поверх тёмного платья. Невысокая, плотная, с гладко зачёсанными назад волосами. Свет падал ей в спину, и лица я не видел. Видел только, как она замерла, разглядывая нашу процессию.

- Костя, - голос у неё сел до шёпота. - Господи. Костя.

Она слетела по ступенькам, схватила меня за плечи и развернула к свету. Пальцы у неё были жёсткие и холодные. Не тратя ни секунды на слёзы, она оттянула мне веко большим пальцем, заглянула в один глаз, потом в другой. Ощупала затылок, шею, ключицы. Профессионально, быстро, как ощупывают незнакомого пострадавшего. И только закончив, прижала мою голову к груди.

От халата пахло хлоркой и почему-то ванилью.

- Валя, он ничего не помнит, - дед топтался рядом. - Ни число, ни год. Меня, говорит, узнаёт, а сам глазами хлопает.

- Ничего, - она не отпускала мою голову. - Ничего. Отойдёт. Ты меня слышишь, сынок? Ты меня узнаёшь?

Я не узнавал. Я видел женщину лет сорока, которая обнимала чужого ребёнка так, как будто держала своего. Внутри у меня что-то болезненно сжалось. Моя мать умерла в две тысячи девятом, и последние три года её жизни я видел её по выходным, через раз.

- Узнаю, мам, - ответ вышел хриплым, и это было даже кстати.

Она наконец отстранилась и подтолкнула меня к двери.

- В приёмный. Быстро. Виктор Палыч, спасибо вам. Пап, иди домой, Нинка там одна.

- Никуда я не пойду, - дед стянул шапку. - Сяду тут и буду сидеть.

Спорить с ним она не стала. Видно, не первый раз.

Приёмный покой был тесной комнатой с кушеткой под клеёнкой, белым шкафом со склянками и столом, на котором лежал журнал в коленкоровом переплёте. Мать усадила меня, рывком стянула с меня ватник, потом мокрую куртку.

- Сапоги снимай.

Вот оно.

- Я сам, - я наклонился к правому сапогу. - Мам, я сам.

- Руки у тебя ходуном ходят. Дай сюда.

- Сам, говорю!

Вышло громче и резче, чем нужно. Она подняла брови, но отступила, и я принялся стаскивать сапог, медленно, морщась, как будто каждое движение отдавалось в голове. Голова и правда гудела, так что играть почти не пришлось. Сапог сполз. Носок под ним был мокрый и бугрился на пятке.

Мать отвернулась к шкафу за полотенцем. Я стянул носок одним движением, сжал вместе со всем содержимым и сунул руку под колено.

- Носки тоже давай, - не оборачиваясь, бросила она. - Всё мокрое, в сушилку.

- Один отдам, второй сам повешу.

- Это ещё почему?

- Он дырявый, - я не нашёл ничего умнее. - Стыдно.

Она обернулась, посмотрела на меня долгим взглядом, и я понял, что сморозил что-то совсем не Костино. Шестнадцатилетний сын у медсестры, видимо, дырявых носков не стеснялся.

- Ты точно головой ударился, - вздохнула она и бросила мне на колени полотенце. - Ладно. Вытирайся. Бондаренко сейчас придёт.

Дежурный хирург Бондаренко оказался высоким сутулым мужчиной лет пятидесяти пяти, с длинным лицом и усталыми глазами, как у хорошей лошади. Он вошёл, застёгивая халат на ходу, и от него пахло табаком и сном.

- Ну, герой, рассказывай, - он сел на табурет напротив. - Что болит?

- Голова. Рёбра. Горло.

- Горло - это от земли. Рёбра - это от деда твоего, он тебя, говорят, по спине молотил, как ковёр. А голова - это интересно.

Он светил мне в глаза фонариком, заставлял следить за пальцем, трогать кончик носа то правой рукой, то левой, стоять зажмурившись, с вытянутыми руками. Я выполнял всё старательно. Неврологический осмотр я проходил не раз, в последние годы - каждые полгода, и знал, чего от меня ждут. Поэтому тщательно промахнулся пальцем мимо носа на один сантиметр.

- Число какое сегодня помнишь?

- Седьмое апреля, - я помедлил. - Мне лейтенант сказал.

- А до лейтенанта?

- Не помню.

- Как класс зовут, в котором учишься?

Я честно пожал плечами.

Бондаренко переглянулся с матерью.

- Сотрясение, Валентина Семёновна. Средней тяжести, я бы сказал. Ретроградная амнезия, бывает. Обычно проходит за несколько дней, иногда за неделю. Кладём на три дня, посмотрим. Холод на голову, покой, никакого чтения.

- Никакого чтения, - мать горько усмехнулась. - Вы ему ещё дышать запретите.

Палата была на втором этаже, четырёхместная, с высоким потолком и окном во двор. Две кровати пустовали, на двух спали. Мать уложила меня у окна, принесла грелку со льдом, подоткнула одеяло и ушла, предупредив, что заглянет через час.

Я лежал на спине и смотрел в потолок, по которому ползла трещина в форме реки с притоками, и ждал, пока стихнут её шаги в коридоре.

Носок с бляшкой лежал у меня под подушкой.

***

Утро наступит часа через четыре, а с утром придут санитарки, менять бельё, мыть полы и заглядывать во все углы. Подушку перетряхнут. Тумбочку откроют. Под матрасом нащупают. Я двадцать лет прожил в общежитиях и экспедиционных лагерях и твёрдо знал, где ищут в первую очередь.

Кровать была железная, с панцирной сеткой и высокими спинками из блестящих труб. На четырёх углах, где трубы сходились, сидели никелированные шарики размером с крупный грецкий орех. Такими сто лет украшали в этой стране каждую больничную, казарменную и бабушкину кровать.

Шарики откручивались. Это я помнил ещё по пионерскому лагерю, где мы прятали в спинках сигареты.

Я сел, прислушался. Сосед у двери храпел ровно, со свистом. Второй, у противоположной стены, лежал лицом к стене и не шевелился. Я дотянулся до шарика на изголовье, со стороны окна, и попробовал повернуть. Тот не поддался. Резьба прикипела от краски, которой спинку красили и перекрашивали, наверное, с тех пор, как Бондаренко был интерном.

Я обмотал шарик краем простыни и налёг сильнее. Хрустнуло. Шарик провернулся на четверть оборота, потом ещё, и наконец остался у меня в руке. Под ним открылся тёмный зев трубы.

Труба была широкая, сантиметра три в диаметре. Бляшка в обмотке не пролезала. Я развернул тряпочку, оставив олешка голым, и поставил его на ребро. Он вошёл в трубу ровно, с небольшим запасом, и скользнул вниз сантиметров на двадцать, пока не упёрся во что-то. Я затолкал за ним тряпочку, чтобы не звякал, и закрутил шарик обратно.

Носок я повесил сушиться на спинку кровати. Пусть все видят: мальчик стеснялся дырявого носка.

Только потом, лёжа в темноте, я заметил, что меня трясёт. Не от холода. От того, что за последние три часа я ни разу не успел подумать о том, что произошло. Каждую минуту нужно было что-то делать: врать, прятать, отвечать. А сейчас занять себя было нечем, и всё это навалилось разом, как тот борт траншеи.

Вера. Я так и не перезвонил.

Узнает она завтра. Нет, уже сегодня, в две тысячи двадцать шестом. Позвонит ей Миша, или Аня, или кто-нибудь из института, и скажет. Она приедет на похороны, будет стоять у гроба и думать, что отец опять не ответил на звонок. Как всегда. Как все последние годы.

Я лежал и смотрел на трещину в потолке, пока она не начала расплываться.

Утро наступило со скрипом двери, грохотом ведра и голосом санитарки, которая громко сообщила палате, что пора вставать, нечего бока отлёживать. Соседи заворочались.

Тот, что храпел у двери, оказался крупным стариком с багровым лицом и белыми бровями. Он сел на кровати, почесал живот под пижамой и первым делом включил радиоточку на стене. Из пластмассовой коробки понеслось бодрое о выполнении планов девятой пятилетки и о том, что делегаты съезда горячо одобрили.

- Новенький, - старик уставился на меня. - Это тебя ночью приволокли? Сапогами по коридору топали, как на параде.

- Меня, кого ж ещё, - я сел. Голова отозвалась тупым гулом.

- Мирон Кузьмич, - он протянул мне руку через проход, огромную и шершавую. - Грыжа у меня. А это Толик, - кивок на соседа у стены. - Толик у нас тракторист, руку сломал. Ему говорить нечем, он только ест.

Толик, совсем молодой парень с загипсованной рукой на перевязи, хмуро буркнул что-то в подушку.

- Ты чей будешь-то?

- Рябинин. Костя.

- Валькин, что ли? Фельдшерицы? - Мирон Кузьмич оживился. - То-то она всю ночь бегала. А чего с тобой?

- Не помню.

- Как это не помнишь?

- Совсем. Ударился головой.

- Ишь ты, - старик посмотрел на меня с уважением, как на человека, совершившего что-то значительное. - У нас в сорок третьем так комвзвода контузило. Тоже ничего не помнил. Месяц потом свою жену по имени-отчеству звал, а она плакала.

Завтрак принесли на подносе: манная каша в алюминиевой миске, кусок белого хлеба с кружком масла и чай в гранёном стакане. Чай был сладкий до приторности, и я выпил его залпом, а потом съел кашу, хлеб и масло. Чужой организм, оказывается, хотел есть так, как мой уже лет двадцать не умел.

На обходе Бондаренко опять светил мне в глаза, гонял палец к носу и остался доволен. Медсестра, совсем молоденькая, принесла таблетки в бумажном кулёчке и проследила, чтобы я их проглотил.

В одиннадцать пришёл Пахомов.

Фамилию лейтенанта я услышал от Мирона Кузьмича, который при его появлении бодро приветствовал «Витю Пахомова» и спросил, не принёс ли тот курева. Курева у Пахомова не оказалось. Зато при нём была белая наволочка, под которую он подложил что-то длинное и тяжёлое.

Он придвинул табурет к моей кровати и сел, держа наволочку на коленях.

- Ну что, Рябинин, вспомнил что-нибудь?

- Нет, Виктор Павлович.

- Совсем ничего?

- Помню, как дед тянул за ноги. До этого - ничего.

Пахомов помолчал. Потом развернул наволочку. Под ней лежал вчерашний щуп.

Мирон Кузьмич вытянул шею. Толик впервые за утро повернулся от стены.

- Знакомая вещь?

- Это та, что у кургана валялась.

- Та. А раньше видел?

- Не помню.

- Ты приглядись, - он положил щуп на одеяло поперёк моих ног. - Видишь ручку?

Я посмотрел. Ручка была приварена к пруту поперёк, двумя аккуратными швами. Швы ровные, гладкие, без наплывов. Прут - не арматура, а круглая калиброванная сталь. Конец заточен на наждаке и закалён: металл у острия посинел.

- Сварено хорошо, - я провёл пальцем по шву раньше, чем подумал, стоит ли.

- Вот, - Пахомов кивнул. - Я с утра к сварщику в мастерские ездил. Он тоже сказал: хорошо. Говорит, такой шов на коленке не положишь. Нужен аппарат и руки. А таких у нас в районе знаешь сколько?

- Не знаю.

- Три. На автобазе, в мастерских ПМК и на элеваторе.

Я промолчал. Мне очень хотелось спросить, какая ПМК и чем она занимается, но вопрос был бы чересчур взрослым. Пахомов и так разглядывал меня дольше, чем смотрят на мальчика, потерявшего память.

- Курган этот копали неделю, не меньше, - он начал заворачивать щуп обратно в наволочку. - Ночами. Мать твоя говорит, ты всю последнюю неделю приходил домой затемно. Говорил, что у Штерна сидишь.

- У кого?

- У Ефима Марковича. Старичок такой, с палочкой. Ты к нему третий год бегаешь, книжки у него берёшь.

- Не помню, - повторил я, хотя имяотозвалось где-то в груди, глухо и непонятно. Как будто у прежнего хозяина этого тела под этим именем был спрятан ключ.

Пахомов поднялся, сунул наволочку под мышку.

- Слушай меня, Рябинин. Если кто будет приходить, спрашивать, как ты да что ты, где был, с кем, - ты мне скажи. Хорошо? Кто бы ни пришёл.

- Хорошо, скажу.

- Я серьёзно.

- Я тоже.

Он посмотрел на меня ещё раз, коротко, и ушёл.

- Строгий, - уважительно заметил Мирон Кузьмич, когда дверь закрылась. - Он у нас второй год. Молодой, а строгий. Прошлый был Сидоренко, тот всё больше рыбу ловил.

***

Днём меня пустили умыться. Умывальная была в конце коридора: три раковины, кафель до половины стены, мутное зеркало в деревянной раме. Я подошёл к нему и долго стоял.

Из зеркала на меня смотрел незнакомый мальчишка. Узкое лицо, острый подбородок, белёсые брови. Серые глаза, русые волосы, вихор на макушке, которому никакая расчёска не указ. На лбу, ближе к виску, - свежая ссадина с запёкшейся кровью. Нос облупился, как бывает у тех, кто весной первым выходит на солнце. Шея тонкая, кадык торчит.

Обычный мальчишка из обычного города. Таких на любой школьной фотографии семидесятых годов по три в каждом ряду.

- Ну, здравствуй, Константин Николаевич, - тихо произнёс я, и мальчишка в зеркале послушно пошевелил губами. - Давай как-то договариваться.

Мать пришла после обеда. Она переоделась, и без халата выглядела моложе и меньше: синее платье с белым воротничком, кофта, косынка. В руках у неё была сумка, а в сумке - пол-литровая банка с куриным бульоном, обёрнутая в газету и полотенце, и три пирожка с капустой в промасленной бумаге.

- Ешь, - она поставила банку на тумбочку и села на край кровати. - Ешь при мне.

Я ел при ней. Бульон был горячий и густой, с плавающими кружками жира, пирожки - мягкие, с поджаристой корочкой. Мирон Кузьмич через проход следил за каждым куском с таким выражением, что третий я отдал ему.

- Как голова?

- Гудит. Меньше, чем ночью.

- Бондаренко говорит, память вернётся, - она разгладила на мне одеяло, хотя складок на нём не было. - Ты главное не пугайся. И не нервничай. Отец в пятницу с рейса вернётся, я ему ещё не сказала. Он с ума сойдёт.

- С какого рейса?

Она посмотрела на меня, и в глазах у неё снова мелькнул страх.

- В Ростов повёз зерно. Он шофёр, Костенька. На автобазе. Ты что, и папу не помнишь?

- Помню, конечно, - соврал я, и она сделала вид, что поверила.

Мы помолчали. Мать разглаживала пальцами газету, в которую была завёрнута банка, и я видел, что ей хочется спросить и страшно спрашивать.

- Костя, - наконец решилась она. - Ты зачем туда полез?

- Не знаю, мам.

- Ты ж у меня тихий. Ты ж у меня на велосипеде до сих пор на горку боишься. С кем ты туда ходил?

- Не помню, - ответ, повторённый в десятый раз за сутки, уже сам по себе звучал как неправда.

- Опять со своим Штерном? Он тебе голову морочит своими курганами?

- Мам, он старый. Он бы до кургана не дошёл.

Вот это было лишнее. Мать замерла.

- Ты же не помнишь, какой он, - медленно произнесла она.

- Виктор Павлович сказал. Что он с палочкой.

Она выдохнула. Поверила. Или захотела поверить.

- Ладно, - она поднялась, собрала пустую банку. - Отдыхай. Я ночью опять на смене, загляну.

Уходя, она задержалась в дверях и оглянулась. Так оглядываются на ребёнка, которого вчера чуть не потеряли. Мне было очень стыдно, и я не знал, как это исправить.

Вечером, когда за окном уже синело, а в палате зажгли лампочку под матовым колпаком, в дверь постучали. Стучать в больничные палаты здесь, видимо, было не принято: Мирон Кузьмич от удивления даже убавил радио.

Вошёл мужчина в сером пальто и шляпе. Лет пятидесяти пяти, полноватый, гладко выбритый, в очках с тонкой золотой оправой. В руках он держал бумажный кулёк, из которого выглядывали оранжевые бока.

Апельсины. В апреле, в степном райцентре. Мирон Кузьмич крякнул.

- Добрый вечер, товарищи, - мужчина снял шляпу и вежливо поклонился палате. - Прошу прощения за беспокойство. Я, собственно, к молодому человеку.

Он прошёл к моей кровати, положил кулёк на тумбочку и сел на табурет, предварительно оглядев его на предмет чистоты.

- Шубин, - представился он, протягивая мне мягкую сухую ладонь. - Вениамин Аркадьевич. Директор нашего краеведческого музея. Ты меня, говорят, не помнишь, Константин?

- Нет. Извините.

- Ну что ты, что ты. Какие извинения. Это мне следует извиниться, что не зашёл раньше. Как только узнал о прискорбном происшествии, так сразу и решил навестить. Ты ведь у нас юный краевед. Член кружка при музее. Активный, между прочим, член.

Он улыбался мягко и ровно, одними губами. Глаза за стёклами очков оставались внимательными и неподвижными, как у человека, который читает мелкий шрифт.

- Спасибо большое, - я взял из кулька апельсин и стал вертеть в руках. Он был холодный и пах Новым годом.

- В районе, знаешь ли, переполох, - Шубин понизил голос, наклонившись ко мне. - Курган разрыт. Памятник археологии, состоящий на учёте. Это, Константин, не шутки. Это государ-

ственное имущество. Мне придётся писать докладную в область. Вот я и подумал: может, ты там что-то видел? Что-то, что могло бы помочь установить, так сказать, характер повреждений?

- Я ничего не помню.

- Совсем ничего? Может быть, какие-нибудь предметы? Черепки, кости? Ребята, бывает, поднимают такое с земли, по неопытности, а потом не знают, куда девать. Это не страшно. Принести в музей - и всё. Музей примет.

- Не помню, Вениамин Аркадьевич.

Он покивал, сочувственно и понимающе. Апельсин у меня в руке нагрелся.

- Ну, поправляйся, - Шубин поднялся, надел шляпу, застегнул пальто на все пуговицы. - Если что-то вспомнишь, приходи. Двери музея для тебя всегда открыты. Всегда.

Он уже взялся за дверную ручку, когда обернулся, будто вспомнил что-то незначительное.

- Да, кстати. Ефим Маркович тебе привет не передавал?

- Нет, не передавал.

- Вот как? - Шубин чуть поднял брови. - Странно. Вы ведь с ним такие друзья. Каждый вечер вместе.

И вышел, аккуратно притворив за собой дверь.

Глава 3

Сарматовск, четверг, 8 апреля 1971 года. Районная больница - улица Степная.

Утро началось с того, что бляшка застряла.

Я понял это сразу, как только открутил шарик. Мирона Кузьмича увели на процедуры, Толик спал, отвернувшись к стене и посвистывая носом. Я заглянул в трубу и увидел край тряпочки. Вытянул её двумя пальцами. Дальше была темнота.

Палец уходил в трубу на всю длину и ничего не находил. Олешек проскользнул ниже, чем я рассчитывал ночью, и теперь лежал где-то на стыке трубы с перекладиной, сантиметрах в двадцати от края. Как в шурфе, который заплыл грунтом. Только в шурф хотя бы можно спрыгнуть.

Я сел на кровать и стал думать.

Перевернуть кровать вверх ногами при живом Толике не получится. Вызвать слесаря, чтобы распилил трубу, - тем более. Нужен был длинный тонкий инструмент и что-то липкое на конце. В экспедиции я выковыривал бы монету из щели в камне пинцетом и пластилином. Здесь не было ни того, ни другого.

Зато у меня на лбу, поверх ссадины, сидела полоска лейкопластыря. А на тумбочке стоял стакан с алюминиевой ложкой, которую забыли унести после завтрака.

Пластырь отклеился с болью, вместе с корочкой. Я обмотал им кончик ложки липкой стороной наружу, придавил пальцами, чтобы держался, и опустил черенком вниз в трубу. Черенок был длинный, дешёвый, гнулся от одного взгляда. Сантиметров восемнадцать. Если повезёт, хватит.

Первый раз ложка упёрлась во что-то и ничего не вытащила. Второй раз пластырь соскользнул, и пришлось лезть за ним пальцами. Толик за спиной заворочался, и я замер с ложкой в трубе, как вор с рукой в чужом кармане. Толик вздохнул, почмокал губами и снова засвистел носом.

На третий раз ложка вышла из трубы с олешком, прилипшим к пластырю спиной. Я снял его, завернул в тряпочку и сунул в носок, который успел за ночь высохнуть на спинке кровати. Носок натянул на ногу. Шарик закрутил. Ложку отнёс в умывальную и тщательно отмыл, а липкую ленту спустил в унитаз.

В коридоре мне попалась молоденькая медсестра, та самая, что вчера носила таблетки.

- Рябинин, ты почему без повязки? - она уставилась на мой лоб.

- Отвалилась сама.

- Прямо сама?

- Ну да, - я потрогал ссадину. - Чесалась сильно.

Она отвела меня в процедурную, промыла ссадину перекисью, которая зашипела и защипала, и наклеила новый пластырь, крест-накрест. От неё пахло дешёвыми духами «Красная Москва», и я вспомнил, что так же пахла наша литераторша в восьмидесятом году. Тогда эти духи уже были немодными, а здесь, видимо, только входили в силу.

К одиннадцати пришла мать.

Она была не одна: за её спиной в дверях маячил дед, побритый и в чистой рубашке, застёгнутой на все пуговицы. В руках он держал свёрток с моей одеждой, высушенной и, судя по запаху, отглаженной.

- Собирайся, - мать поставила на тумбочку сумку. - Домой идём.

- А три дня?

- Договорилась я с Григорием Аркадьевичем. Под расписку. Он сказал, дома ты быстрее отойдёшь, а у него, сам видишь, коек нет.

Коек на самом деле было две свободных, но спорить я не стал. Домой хотелось ничуть не меньше, чем матери. Вернее, тянуло из больницы. Где этот дом и что в нём меня ждёт, я пока представлял смутно.

- Только условие, - мать загнула палец. - Лежать. Не читать. Каждый день мне показываться. В школу - не раньше пятницы, и то если голова не будет болеть.

- Хорошо, мам.

- И никуда. Слышишь, Костя? Никуда без спросу.

- Слышу, мам.

Мирон Кузьмич, вернувшийся с процедур, проводил меня как родного. Пожал руку, похлопал по плечу и посоветовал держаться подальше от курганов, потому что «там одни покойники, а с ними водиться - только время терять». Толик махнул здоровой рукой и снова отвернулся к стене.

На улице было солнце.

Я остановился на крыльце и зажмурился. Ночью город казался тёмной кляксой с редкими огнями, а сейчас, при свете, оказался неожиданно зелёным. Акации вдоль улицы только начинали распускаться, у заборов пробивалась трава, в палисадниках цвели жёлтые нарциссы. Небо было высокое, ярко-синее, с белыми полосками облаков, и в нём висел жаворонок, звеня так, будто его завели ключиком.

- Что встал? - дед тронул меня за локоть. - Голова кружится?

- Нет. Хорошо просто.

Дед хмыкнул и ничего не ответил, но мне показалось, что он посмотрел на меня как-то по-новому.

Пошли пешком. Мать объяснила, что автобус ходит раз в час и мы на него опоздали, а идти недалеко, минут двадцать. Я шёл между ней и дедом, стараясь не хромать: олешек в носке сползал к своду стопы и давил острым краем рога.

Город разворачивался вокруг неспешно, как свиток. Улица с одноэтажными домами вывела к площади. Посреди неё стоял Ленин на постаменте из серого гранита, протянув руку в сторону элеватора. На его крыше теперь читалась надпись: «Слава советскому хлеборобу!» У подножия постамента лежали вчерашние гвоздики, уже подвявшие.

На площади было людно. Женщины с авоськами стояли в очереди к жёлтой бочке на колёсах, на которой было крупно выведено «МОЛОКО». Из бочки наливали в бидоны и трёхлитровые банки. Рядом, у дверей магазина «Продтовары», курили двое мужиков в кепках. Мимо, грохоча, проехал грузовик с бортами, набитыми мешками, и обдал всех сизым дымом.

- Здрасьте, Валентина Семёновна!

- Здравствуй, Галочка.

- Здорово, Ильич!

- И тебе не хворать.

Здоровались с нами через каждые двадцать шагов. Мать отвечала, дед кивал, а на меня косились с любопытством, но с расспросами не лезли. Видимо, история уже облетела весь город, и подробности решили выяснить потом, без свидетелей.

Одна из женщин, полная, в мохеровом берете, всё-таки не выдержала и перегородила нам дорогу у самого магазина.

- Валя, это правда, что его из кургана вытащили? - она разглядывала меня, как экспонат под стеклом. - Говорят, он там клад искал.

- Правда, что вытащили. А клады пусть милиция ищет, Зинаида Петровна, - мать даже шаг не замедлила. - У нас и без кладов забот хватает.

- Так ведь люди говорят…

- Говорят, что в Москве кур доят, - дед подхватил меня под локоть. - Пошли, Костя.

Зинаида Петровна осталась стоять с открытым ртом, а мы свернули за угол.

Я дёрнул мать за рукав.

- Кто это?

- Мищенко. Соседка наша через три дома, - мать поджала губы. - У неё язык как помело. К вечеру весь город будет знать, что ты золото нашёл.

- А я не нашёл.

- Вот и хорошо, что не нашёл, - мать вдруг остановилась и посмотрела на меня очень серьёзно. - Костя, если ты там что-то взял… Хоть что-нибудь… Ты скажи. Отнесём куда надо, и всё.

- Ничего я не брал, мам.

Она смотрела ещё секунду, потом отвернулась и пошла дальше, быстрее прежнего.

У стенда «Доска почёта» мать замедлила шаг, и я понял почему. С третьей фотографии в верхнем ряду на меня смотрел дед. Моложе лет на пять, в пиджаке с орденскими планками, с серьёзным лицом человека, которого заставили позировать. Подпись гласила: «Гуров С. И., машинист бульдозера ПМК-17. Норму выполняет на 140 %».

- Ну чего уставились? - дед потянул нас дальше. - Пошли, пошли.

Значит, Гуров. И ПМК-17, где, по словам Пахомова, был один из трёх сварочных аппаратов района. Я сложил это в тот же пакет, где уже лежали олешек, щуп и золотые очки Шубина.

***

Улица Степная оказалась на самом краю города, там, где асфальт кончался и начиналась грунтовка, разбитая колёсами до двух глубоких колей. Дальше, за последними домами, лежала степь, ровная, как стол, и уходила к горизонту. Где-то там, в четырёх километрах, была Гнилая балка.

Дом под номером четырнадцать стоял за голубым штакетником. Небольшой, саманный, обложенный снаружи красным кирпичом, с зелёными ставнями и крыльцом под жестяным козырьком. Во дворе - вишня, ещё голая, колонка с длинной ручкой, сарай с навесом, поленница. На верёвке сушилось бельё.

Калитка заскрипела, и из-под крыльца выскочила собака. Рыжая, лохматая, на коротких лапах, с хвостом, закрученным в бублик. Она бросилась ко мне с радостным лаем, ткнулась носом в колени и вдруг замерла. Шерсть на загривке поднялась дыбом.

Собака зарычала. Низко, глухо, глядя мне в лицо.

- Жулик, ты чего? - мать опешила. - Свои это, свои!

Жулик не верил. Он пятился, рычал и не сводил с меня глаз. Я присел на корточки, медленно, не делая резких движений, и протянул ему ладонь.

- Свой я, Жулик, - тихо. - Теперь свой.

Он долго нюхал мою руку. Обошёл меня кругом, обнюхал сапоги, особенно правый. Потом сел и посмотрел мне в глаза с каким-то собачьим недоумением, будто спрашивал: а куда делся прежний? Я почесал его за ухом. Он подумал и ткнулся мокрым носом мне в ладонь.

- Головой стукнулся, вот и пахнет по-другому, - объяснил дед. - Лекарствами от него несёт. Они этого не любят.

Дверь дома распахнулась, и на крыльцо вылетела девчонка.

Лет двенадцати, худая, остроносая, с двумя тонкими косичками, торчащими в разные стороны. В школьной форме, но без фартука, с пятном чернил на манжете. Она скатилась по ступенькам и остановилась в шаге от меня, уперев руки в бока.

- Ну ты и дурак, Костька, - заявила она дрожащим голосом. - Ну ты и дурак!

И разревелась, уткнувшись мне в грудь.

Я обнял её неловко, не зная, куда девать руки. Сестра. У меня никогда не было сестёр, только двоюродный брат, с которым мы виделись раз в пять лет на похоронах. Нинка всхлипывала, мать гладила её по голове, дед кашлял в кулак и отворачивался.

- Нина, пусти его, ему лежать надо, - наконец вмешалась мать.

Нинка отлипла, вытерла нос рукавом и уставилась на меня мокрыми глазами.

- Мама говорит, ты всё забыл. Это правда?

- Почти всё.

- А меня как зовут?

- Нина, конечно.

- Это тебе мама сейчас сказала. А полностью?

- Нина Николаевна Рябинина, - рискнул я, вспомнив, как звали отца.

Нинка прищурилась.

- А в каком я классе?

- В шестом, - я ткнул пальцем в чернильное пятно на её манжете. - Ты сегодня писала диктант и поставила кляксу. Учительница тебя отругала, поэтому ты злая.

Нинка открыла рот. Мать и дед переглянулись.

- Откуда ты знаешь?

- Просто догадался.

Про класс я догадался по росту и по форме, а про кляксу - по пятну, которое ещё не успело высохнуть. Простое наблюдение, ничего больше. Но Нинка смотрела на меня так, будто я на её глазах достал из шляпы кролика.

- Ты стал какой-то странный, - вынесла она приговор и убежала в дом.

Внутри дом оказался больше, чем снаружи. Сени с вешалкой и рядом калош, кухня с белёной печкой и газовой плитой на две конфорки, к которой тянулась труба от красного баллона. Дальше - комната, которую мать называла залом. В зале стоял сервант с посудой за стёклами, круглый стол под скатертью с бахромой, диван, накрытый покрывалом, и телевизор «Рекорд» на тонких ножках, с кружевной салфеткой сверху. На стене над диваном висел ковёр, красно-бордовый, с узором из ромбов. Рядом с ковром - фотографии в рамках: свадьба, молодой солдатв пилотке, девочка в бантах на руках у бабушки.

- Твоя комната, - мать открыла дверь в конце короткого коридорчика. - Ложись. Я поесть принесу.

Комната была узкой, как пенал. Кровать у стены, письменный стол у окна, табуретка, полка с книгами, шкаф для одежды. На стене над столом висела большая самодельная карта района, склеенная из нескольких листов. Синим карандашом были нарисованы река и балки, чёрными точками - сёла, а красными кружками с номерами - курганы. Их было десятки. У Гнилой балки красных кружков было девять, с номерами по порядку.

Над кружком с номером четыре кто-то, видимо сам Костя, поставил маленький вопросительный знак.

Я сел на кровать и огляделся внимательнее. На полке стояли книги: потрёпанный том «Занимательной археологии», «Путешествие в страну скифов», два тома какой-то энциклопедии, «Три мушкетёра», «Таинственный остров», стопка журналов «Знание - сила» и «Техника - молодёжи». На подоконнике лежали лупа, линейка и жестяная банка из-под монпансье с выцветшей картинкой. Я открыл банку. Монеты. Медные пятаки и полушки, серебряные гривенники с орлами, несколько советских монет двадцатых годов, одна китайская с квадратной дыркой. Каждая завёрнута в бумажку, а на ней аккуратным почерком - год, место находки, дата.

«Пятак 1790 г., огород Мищенко, 12.05.1969».

Костя был полевиком. Маленьким, неопытным, но самым настоящим. Он фиксировал находки. В шестнадцать лет. Я в его возрасте собирал марки и врал, что погасил их сам.

На столе, придавленная учебником физики, лежала общая тетрадь в коричневой клеёнчатой обложке. На ней шариковой ручкой было выведено: «Курганы. Наблюдения. К. Рябинин».

Я потянулся к ней, но в коридоре зашаркали шаги, и в дверях появилась мать с тарелкой.

- Ешь. И спать. Я тебе завтра почитаю, если будешь хорошо себя вести.

Пришлось отложить тетрадь.

День прошёл в странной полудрёме. Я лежал, слушал звуки чужого дома и пытался понять, как он устроен. Мать ушла на работу, у неё была смена с двух. Дед возился во дворе: колол дрова, потом что-то чинил в сарае, тихо ругаясь. Нинка вернулась из школы, грохнула портфелем об пол, долго гремела кастрюлями на кухне и наконец заглянула ко мне.

- Ты есть будешь? Там суп.

- Буду. Спасибо, Нин.

Она застыла на пороге.

- Ты никогда мне спасибо не говорил.

- Значит, пора начинать.

Вечером, когда стемнело, мы ужинали втроём: я, дед и Нинка. Мать была на смене до ночи. Ели на кухне, за клеёнчатым столом под абажуром. Жареная картошка на огромной чугунной сковороде, квашеная капуста с луком, солёные помидоры из трёхлитровой банки, хлеб, нарезанный толстыми ломтями. Дед поставил на стол бутылку «Жигулёвского» и налил себе в кружку.

- Ну, за то, что живой, - он поднял кружку в мою сторону и выпил залпом.

Ели молча. Дед жевал медленно, основательно, как всё делал. Нинка болтала ногами под столом и рассказывала про диктант, про училку, которая называла её неряхой, и про какую-то Таньку, которая сидит за ней и дёргает за косы. Я слушал, кивал и задавал вопросы. Нинка, кажется, удивлялась, что мне интересно.

- Дед, - спросил я, когда картошка кончилась. - А что такое ПМК?

Дед поперхнулся пивом.

- Совсем ты, парень, - он вытер усы ладонью. - Передвижная механизированная колонна. Мы канал роем. Оросительный, от Сармы до совхоза «Красный пахарь». Три года уже роем. Ты ж у меня на трассе сколько раз был.

- Не помню.

- Не помнишь, - дед покачал головой и уставился в кружку. - Ну и ладно. Может, оно и к лучшему.

- Это почему же?

Он долго молчал. Нинка перестала болтать ногами.

- Потому что ты на трассе всё по курганам лазил. Мы ж через них канал ведём. Как курган на пути - значит, срезать. План есть, проект утверждён. А ты бегал, кричал, что нельзя, что там древние люди. Ругался с Борисом Тимофеевичем.

- С кем?

- С бригадиром моим. С Гладких.

Фамилия легла в пакет рядом с остальными.

- А нельзя не срезать? - спросил я.

Дед посмотрел на меня тяжело.

- Можно, Костя. Если бумага есть, что нельзя. А бумаги нету. Значит, срезаем.

Я не стал спорить. Бумага в этой стране решала всё и в семьдесят первом году, и в две тысячи двадцать шестом. Разница была только в том, кто её подписывал.

После ужина я поднялся, собрал тарелки и понёс к рукомойнику.

- Ты чего? - Нинка вытаращила глаза.

- Посуду помою.

- Ты? Посуду?

- А что тут такого?

Дед отставил кружку и молча наблюдал, как я грею воду в чайнике, наливаю в таз, ищу тряпку и мою тарелки. Нинка сидела с открытым ртом. В конце концов она не выдержала, вскочила и отобрала у меня тряпку.

- Дай сюда. Ты всё равно неправильно делаешь. Сначала стаканы, потом тарелки, потом сковородку. Вот бестолочь.

- Учи, - я отдал тряпку. - Буду знать.

Она фыркнула, но я видел, что ей приятно.

Ночью дом спал. Мать ещё не вернулась, дед храпел в зале на диване, Нинка за занавеской в своём углу что-то бормотала во сне. Я лежал на спине, смотрел в темноту и ждал.

Олешек всё ещё лежал у меня в носке. Носок - на ноге. За день я так привык к его острому краю, что почти перестал замечать. Но дома носок рано или поздно отправят в стирку, а мать, судя по всему, наводила в доме порядок с армейской тщательностью.

Нужен был тайник. Не в доме: в доме ищут первым делом. И не в сарае: сарай - это дедова территория, и дед знает там каждый гвоздь.

Нужна была земля.

Я встал около часа ночи, натянул брюки и свитер и в одних носках вышел в сени. Сапоги я взял в руки. Дверь скрипнула, но дед продолжал храпеть, и я выскользнул на крыльцо.

Ночь была холодная и ясная. Над степью снова висела та самая звёздная каша, от которой в первую ночь у меня перехватило дыхание. Жулик выбрался из-под крыльца, потянулся и подошёл ко мне, виляя хвостом-бубликом. Он уже признал меня своим. Или решил, что ночная прогулка лучше, чем ничего.

В сарае я нашёл совковую лопату и небольшую садовую, с коротким черенком. Взял вторую. Потом поискал на полках и нашёл то, что нужно: пустую стеклянную банку из-под лекарства, с плотно притёртой пробкой. И моток бечёвки.

Вишня стояла в глубине двора, у забора. Старая, раскидистая, с толстым стволом в трещинах. Под ней прошлогодние листья лежали плотным ковром.

Я встал спиной к стволу и огляделся. Мне нужны были два ориентира, которые не сдвинутся и не исчезнут за ближайшие годы. Ствол вишни - первый. Второй - угловой столб забора, толстый, вкопанный глубоко, судя по всему, ещё при строительстве дома. Третий, для контроля, - угол сарая.

Рулетки у меня не было. Я навязал на бечёвке узлы. Пять узлов, отмеряя промежутки растопыренной пятернёй: у Кости от кончика большого пальца до мизинца выходило около двадцати сантиметров. Погрешность - пару сантиметров. Для тайника годится.

Метр двадцать от ствола вишни на юго-восток. Метр восемьдесят от углового столба. Два метра сорок от угла сарая.

Я разгрёб листья, вырезал лопаткой квадрат дёрна и аккуратно отложил его в сторону. Землю под ним копал медленно, складывая на расстеленный мешок, чтобы не разбросать по траве. Глубина - сорок сантиметров. Ниже, судя по цвету, начинался плотный суглинок, и копать его без шума было бы трудно.

Олешка я завернул в тряпочку, сунул в банку, плотно заткнул пробкой. Поставил банку на дно ямки. Засыпал землёй, утрамбовал ладонями. Положил дёрн на место. Сверху набросал листья.

Жулик всё это время сидел рядом и внимательно смотрел.

- Только никому, - шепнул я ему. - Понял?

Он вильнул хвостом.

Смешно. Сорок лет я занимался тем, что выкапывал из земли спрятанное. Тысячи погребений, сотни кладов, бесконечные ямы, траншеи, шурфы. А первый мой тайник в новой жизни я закопал сам, под вишней, во дворе чужого дома, глубокой ночью. Измерения запомнил наизусть, как номер телефона. Записывать не стал.

Будущий археолог, который когда-нибудь найдёт эту банку, получит загадку на всю жизнь. Если, конечно, я не успею его опередить.

Я вернул инструмент в сарай, отряхнул штаны и тихо прокрался в дом. Дед храпел. Нинка бормотала. Я дошёл до своей комнаты, закрыл дверь и только тогда позволил себе выдохнуть.

На столе лежала тетрадь в клеёнчатой обложке.

Я включил настольную лампу, накрыл её свитером, чтобы свет не бил в окно, и открыл тетрадь на первой странице.

Почерк у Кости был мелкий, ровный, с наклоном вправо. Первые страницы занимали описания курганов, скопированные, судя по всему, из какой-то старой книги или отчёта: номер, высота, диаметр, состояние насыпи. Рядом - аккуратные рисунки, в плане и в профиле. Мальчишка явно учился у кого-то, кто знал, как надо.

Курган номер один. Курган номер два. Номер три. Каждому - по странице, иногда по две.

Номер четыре занимал три страницы. На первой - описание и рисунок насыпи. На второй - план, на котором кто-то провёл стрелку с юга, наискось, к центру, и подписал: «так короче, по старому плану 1936 г.».

На третьей странице было всего три строчки, торопливых, неровных, совсем не похожих на остальной почерк:

« 4 - копали ночью. Уже пятую ночь. Г. говорит, ещё две ночи - и будем в камере.

Я больше не хочу».

Дальше страниц не было. Их вырвали. Под самым корешком торчали неровные бумажные лохмотья, штук десять.

Глава 4

Сарматовск, пятница, 9 апреля 1971 года. База ПМК-17.

Борис Тимофеевич Гладких приезжал на базу в половине седьмого, за полчаса до наряда. Так было заведено ещё с тех пор, как он сам ходил в бульдозеристах: кто первым пришёл, тот и хозяин дня. Двадцать лет прошло, а привычка осталась.

База стояла на выезде из города, у старого кирпичного завода. Забор из бетонных плит, ворота на цепи, сторожка с печкой. Внутри - площадка, разбитая гусеницами в кашу, и вдоль неё в ряд техника: три бульдозера ДТ-75, тяжёлый С-100 с отвалом шириной в полкомнаты, скрепер, два самосвала и экскаватор, похожий на ржавую цаплю. Дальше - мастерские под шиферной крышей, склад ГСМ и контора. Контора была обычным строительным вагончиком на полозьях, выкрашенным в зелёный цвет, с крылечком из трёх ступенек.

Гладких отпер вагончик своим ключом, включил свет и электрическую плитку. Поставил на неё чайник, снял плащ, повесил на гвоздь. Сел за стол и раскрыл график.

График висел над столом, приколотый кнопками, разлинованный от руки. Красная линия шла вдоль трассы канала от Сармы на восток. Километр за километром. Пикет за пикетом. Где линия была сплошной, там канал уже прорыт и облицован. Где пунктиром - там ещё работа.

Пунктир упирался в квадратик с надписью «ПК 47+20. Курган».

Пятый курган у Гнилой балки. По проекту - срезать до материка, грунт в отвал, трассу выровнять. Срок - до двадцатого апреля. Потом начиналась облицовка: раствор возили из Ростова по графику, и если к приходу машин русло не будет готово, их развернут на другой объект. А вместе с ним уйдут премия, переходящее знамя и место в областной сводке.

Гладких смотрел на квадратик и думал о четвёртом кургане.

Чайник засвистел. Он заварил чай прямо в кружке, крепкий, тёмный, бросил три куска рафинада и сидел, помешивая ложкой, пока за окном не начали собираться люди.

Наряд он провёл быстро, как всегда. Мужики стояли полукругом у вагончика, курили, слушали. Кому на трассу, кому в мастерские, кому на ремонт. Сварщик Лёха Брагин опять пришёл с опухшим лицом, и Гладких сделал ему замечание, коротко, при всех. Лёха опустил голову и пробормотал, что больше не будет.

Последним в полукруге стоял Гуров. Сухой, прямой, в чистой спецовке, с руками за спиной.

- Семён Ильич, ты на пятый курган, - Гладких сверился с бумажкой. - С понедельника начинаешь. Сегодня технику проверь, завтра выводи на трассу.

- Понял, сделаю.

- Как внук?

Вопрос прозвучал буднично, мимоходом. Мужики оживились. Вся база со вчерашнего дня гудела об этом.

- Живой, - Гуров не изменился в лице. - Дома лежит. Ничего не помнит, голова ушибленная.

- Совсем ничего?

- Совсем. Меня, говорит, узнаёт, мать тоже. А как в курган полез - нет.

- Ну, дай бог, отойдёт, - Гладких кивнул. - Ты его к трассе больше не пускай. Курганы курганами, а у нас тут техника, мало ли.

Гуров ничего не ответил. Только посмотрел на бригадира долгим, тяжёлым взглядом, развернулся и пошёл к своему бульдозеру.

Гладких проводил его глазами. Гурова он уважал. За двадцать лет работы бок о бок старик ни разу не запорол ни одной смены, ни разу не пришёл пьяным, ни разу не отказался выйти в выходной. Вкалывал так, как умеют только фронтовики: им после войны любая смена

кажется отдыхом. Таких на базе было ещё трое, и все трое уходили на пенсию в этом году или в следующем. Кем их заменить, Гладких не представлял.

И вот внук такого человека…

Он вернулся в вагончик и закрыл дверь.

В семь тридцать у ворот затормозила серая «Волга». Гладких услышал её раньше, чем увидел: двигатель у неё работал мягко, почти неслышно, и только шуршание шин по гравию выдало гостя. Он отодвинул занавеску. Из «Волги» вышел Кулешов, огляделся и направился к вагончику.

Следом за ним с пассажирского сиденья вылез Генка.

Аркадий Ильич Кулешов был невысоким, полным мужчиной лет сорока пяти, всегда хорошо одетым. Сегодня на нём было светлое пальто, импортное, с поясом, и шляпа с короткими полями. Ботинки блестели, хотя до вагончика надо было пройти по раскисшей площадке. Кулешов прошёл её так, что на ботинках не осталось ни пятнышка. Как он это делал, Гладких не понимал уже лет пять.

Генка шёл следом, сунув руки в карманы солдатской шинели без погон, сгорбившись и глядя под ноги.

- Доброе утро, Борис Тимофеевич, - Кулешов снял шляпу. - Не помешали?

- Заходите, не стойте.

Он запер дверь за ними на щеколду и задёрнул занавеску. Кулешов сел на единственный свободный стул, положил шляпу на колено. Генка остался стоять у двери.

- Чаю налить?

- Спасибо, не стоит. Я ненадолго, у меня в девять ревизия из потребсоюза, - Кулешов улыбнулся, но глаза у него не улыбались. - Давайте сразу о деле. Генадий, покажи.

Генка достал из внутреннего кармана шинели свёрток. Обычный носовой платок, связанный узлом. Положил на стол, развязал.

На платке лежало семь маленьких золотых бляшек. Каждая - размером с ноготь, круглая, в виде розетки с лепестками, с крошечными петельками на обороте. Рядом - горсть бронзовых наконечников стрел, позеленевших, трёхгранных. И обломок чего-то вроде браслета, тоже золотого, толщиной с карандаш.

Гладких смотрел на это и испытывал то же, что и каждый раз: смесь брезгливости и тупого, тяжёлого удивления. Вот это - всё? Пять ночей. Шесть кубов земли руками. Пацан в завале. Ради горсти мелочи, которая поместится в спичечный коробок.

- Негусто, - Кулешов будто прочитал его мысли. Он достал из кармана пальто лупу в чёрной оправе и стал рассматривать розетки одну за другой. - Хотя работа тонкая. Ювелирная. Олег Константинович будет доволен.

- Это не всё, - Генка заговорил хрипло, не поднимая глаз. - Там ещё было.

- Что ещё?

- Олень там был.

Кулешов опустил лупу.

- Какой олень?

- Ну, как на той картинке, что вы показывали. Олень, лежит, ноги поджал. Рога вот так, - Генка изобразил рукой волну. - Большой, с коробок.

В вагончике стало очень тихо. Слышно было, как за стеной рычит, прогреваясь, бульдозер Гурова.

- И где он? - тихо поинтересовался Кулешов.

- У Костьки.

- Откуда ты знаешь?

- Я видел. Я ему фонарём светил. Он там, внутри, в камере, всё руками разгребал. Подавал мне что находил, я складывал. А потом он его нашёл. Я видел, как он его в руке держал.

Я ему говорю: давай сюда. А он не даёт. Говорит: щас, ещё немного, тут ещё что-то есть. А потом там сверху как посыплется…

- И ты убежал, - закончил Гладких.

Генка втянул голову в плечи.

- Я думал, всё. Думал, его насмерть. Там земли столько упало…

- Бросил, значит, пацана в завале, - Гладких выговаривал каждое слово медленно и раздельно. - И дал дёру. С фонарём. Он там в темноте лежал, задыхался, а ты бежал по балке.

- Борис Тимофеевич, я…

- Ты понимаешь, что если бы дед его не откопал, тут бы сейчас не Пахомов ходил, а следователь из области? По мокрому делу? Ты это понимаешь, солдат?

Генка молчал. Лицо у него стало серым.

- Ну будет, Борис Тимофеевич, - Кулешов поднял руку. - Не дети же. Что было, то прошло. Мальчик жив, мальчик ничего не помнит. Всё обошлось.

- Обошлось, - Гладких отвернулся к окну. - Ну да.

Он не любил Кулешова. Никогда не любил, с первого дня, как тот появился в Сарматовске пять лет назад, переведённый из Ростова с повышением. Слишком мягкий голос. Подозрительно чистые ботинки. Но Кулешов умел добывать то, чего не мог достать никто: запчасти, фонды, лимиты на солярку. Умел решать вопросы в райкоме. А главное, у Кулешова были люди в Москве. Люди, которые платили.

И это Гладких понимал. В этом месяце из-за перерасхода солярки и задержки с облицовкой его бригада теряла квартальную премию. Двадцать семь человек, у каждого семья. А курганы всё равно шли под нож. Пятый по проекту, восьмой и девятый в следующем году. Бульдозер не спрашивает, есть там золото или нет. Он просто сгребает всёв кучу, а кучу потом закатывают катком. Он видел это своими глазами, раз двадцать за свою жизнь на трассе. Кости, черепки, какие-то ржавые железки. Иногда зелёные кругляши, которые мужики выковыривали из отвала и несли детям поиграть.

Так пусть лучше людям. Пусть лучше пользу принесёт. Чем бульдозером в отвал.

Так он уговаривал себя в ту ночь, когда Кулешов впервые завёл этот разговор. Повторял и потом.

Только пацана в завале в этом уговоре не было.

- Аркадий Ильич, - Гладких повернулся от окна. - А откуда мы знаем, что олень у мальчишки? Только с его слов?

Он кивнул на Генку.

- Я видел! - тот дёрнулся. - Я своими глазами…

- Ты видел, как пацан держал оленя в камере. А потом на вас обвалилось. Что было дальше, ты не видел, потому что бежал. Может, олень так и остался в завале. Или, - Гладких выдержал паузу. - Или он у тебя в кармане.

- Борис Тимофеевич!

- Я спрашиваю. Имею право.

Кулешов посмотрел на Генку внимательно, с интересом, как смотрят на товар, который вдруг оказался не того сорта. Генка побелел ещё сильнее.

- Да вы что… Да я… Обыщите! Хотите - обыщите! И дома тоже!

- Сядь, - Гладких махнул рукой. - Никто тебя обыскивать не будет.

- А может, и стоило бы, - мягко заметил Кулешов. - Олег Константинович за этого оленя платит больше, чем за всё остальное, вместе взятое. Он ему нужен в пару. У него один такой уже есть. Тот самый, с картинки.

- Из музея, - уточнил Гладких.

Кулешов поморщился, как от кислого.

- Борис Тимофеевич, не нужно лишних слов. Даже здесь.

Гладких промолчал. Про то, откуда у москвича взялся первый олень, он узнал случайно, полгода назад, от самого Кулешова, который в тот вечер выпил лишнего. И с тех пор старался об этом не думать. Шубина он знал с детства. Тихий, вежливый очкарик, первый в классе и при галстуке. Теперь вот директор музея. Член райкома. Лектор общества «Знание».

Гладких тогда долго сидел у себя на кухне, курил и пытался понять, как такое возможно. Потом понял. Шубину тоже нужны были деньги. Они всем нужны. Особенно тем, кто ходит при галстуке.

- Итак, - Кулешов сложил руки на колене. - Два варианта. Первый: олень в завале. Тогда его надо достать, пока курган не начали изучать какие-нибудь умники из области. Второй: олень у мальчика. Тогда его тоже надо достать.

- Из завала я больше не полезу, - глухо пробормотал Генка. - Там всё поплыло. Там теперь только экскаватором.

- Значит, экскаватором, - Кулешов повернулся к Гладких. - Борис Тимофеевич, у вас ведь есть такая машина?

- Есть. Только не про вашу честь. Курган четвёртый вне трассы. Если я туда пригоню экскаватор, через час будет знать весь район.

- Жаль, - Кулешов вздохнул. - Тогда остаётся мальчик.

- Мальчик ничего не помнит.

- Это мы знаем со слов деда. И со слов Вениамина Аркадьевича, - Кулешов снова улыбнулся одними губами. - Он, кстати, навестил его в больнице. С апельсинами. Очень трогательно.

- Ну и что?

- А то, что Вениамин Аркадьевич нервничает. Он вчера вечером звонил мне домой. Говорит, мальчик смотрел на него странно. Не как больной ребёнок. Как следователь, говорит. Как будто всё про него знает.

Гладких хмыкнул.

- Шубину везде следователи мерещатся. Он сам от себя шарахается.

- Возможно, - Кулешов не спорил. - Но я бы не стал рисковать. Если мальчик помнит, он может пойти в милицию. К Пахомову. А тот, извините, не Сидоренко. Его не купишь.

Это была правда. Прежний участковый, Сидоренко, брал рыбой, водкой и запчастями к мотоциклу, и за пять лет его службы в районе ни одно дело не дошло до суда. А Пахомов за полтора года посадил двух шоферов с автобазы за слив бензина и одного завскладом за сахар. И теперь вот носился по району со щупом в наволочке.

Гладких вспомнил щуп и нахмурился.

- Щуп у него, - он повернулся к Генке. - Кто варил ручку?

Генка сглотнул.

- Лёха варил.

- Брагин, что ли?

- Он. В мастерских, в обед. Я ему бутылку дал.

Гладких выругался. Коротко, сквозь зубы, отвернувшись к стене, чтобы не при госте.

- Пахомов вчера был в мастерских, - медленно выговорил он. - Ходил с этой наволочкой, показывал сварку. Спрашивал, кто такие швы кладёт. Мужики ему сказали: у нас все так кладут. А Лёха сегодня с опухшей рожей.

- Он не скажет, - Генка торопливо замотал головой. - Лёха свой. Он не скажет.

- Лёха пьёт. А пьющий человек, Гена, говорит всё. Сначала жене, потом собутыльнику, потом участковому. Это у них так по порядку.

Кулешов слушал этот разговор с выражением человека, который случайно зашёл не в тот кабинет.

- Борис Тимофеевич, - наконец вмешался он. - Брагин - ваша забота. Мальчик - тоже ваша. Он внук вашего работника, вам и карты в руки. Но у меня тоже есть кое-что.

Он достал из кармана пальто записную книжку в кожаном переплёте, полистал.

- Рябинин Николай Петрович. Шофёр автобазы, ГАЗ-51, номер такой-то. Отец мальчика. В прошлом году взял у меня в долг двести рублей на холодильник «Саратов». И ещё сто пятьдесят в январе, на ковёр жене к Восьмому марта. Итого триста пятьдесят. Срок возврата - первое мая.

- Сумма немаленькая.

- Для шофёра - неподъёмная. Он рассчитывал на премию за уборочную. Премию ему урезали из-за аварии в октябре. Я узнавал.

Гладких смотрел на Кулешова и думал, что этот человек узнаёт про всех. Про каждого в городе. Кто кому должен, кто с кем спит, кто где ворует. И хранит всё это в кожаной книжечке, как кассир сдачу.

- И что вы собираетесь делать?

- Ничего. Просто напомнить Николаю Петровичу о долге. Вежливо. Когда он вернётся из рейса. Сегодня вечером, я полагаю. А заодно намекнуть, что долг можно и простить. Если, например, его сын вернёт одну вещь, которую случайно взял. Без всякой милиции. По-хорошему.

- А если мальчишка ничего не брал?

- Тогда отец ничего не найдёт, и долг останется долгом, - Кулешов спрятал книжку. - Мы в любом случае не в убытке.

Гладких молчал. Ему очень не нравился этот план. Но предложить другой он не мог.

- Генка, - он повернулся к парню. - Пацан тебя видел? Там, у кургана? Он тебя знает?

- Знает, конечно, - Генка удивился вопросу. - Мы ж с ним месяц уже. Он нам схемы рисовал. Он же всё знает: где в тридцать шестом копали, где что нашли. Его этот, старик, научил. Штерн.

- А теперь он говорит, что ничего не помнит. И тебя, значит, тоже.

- Ну да, выходит, так.

- Тогда вот что. Будешь за ним присматривать. Издалека. Куда ходит, с кем говорит. Особенно - бывает ли у Штерна и у Пахомова. Подходить не смей. Если он и правда не помнит, нечего ему напоминать. А если врёт… - Гладких помолчал. - Если врёт, сам себя выдаст. Рано или поздно.

- А если к Пахомову пойдёт?

- Тогда сразу ко мне. Бегом.

Генка закивал.

Кулешов поднялся, надел шляпу, застегнул пальто. Розетки и наконечники он аккуратно завернул обратно в платок и спрятал во внутренний карман.

- Это я забираю. Олег Константинович приезжает в мае, к Девятому, на встречу ветеранов. Хотелось бы к его приезду иметь полный комплект. Полный, Борис Тимофеевич.

- Я понял.

- И ещё, - Кулешов задержался в дверях. - Пятый курган. Тот, что по трассе. Когда вы его начинаете?

- В понедельник.

- Нельзя ли раньше? Или, наоборот, позже? Я бы хотел, чтобы до бульдозера туда сначала заглянул Гена. На пару ночей.

- Нет, не выйдет, - отрезал Гладких.

Кулешов поднял брови.

- Вот как?

- Нет. Пятый курган - на трассе. Там Гуров работает. Там каждый день люди. Там проект, там сроки. Хватит одного четвёртого.

- Как скажете, - Кулешов пожал плечами. - Вам виднее. Но подумайте. Бульдозер всё равно всё сгребёт в отвал. А так хоть людям польза.

Он вышел, мягко прикрыв за собой дверь. Через минуту за окном зашуршали шины, и серая «Волга» уехала.

Генка остался стоять у двери, переминаясь с ноги на ногу.

- Борис Тимофеевич…

- Иди. На трассу иди. Скажешь, я послал помогать Гурову с техникой.

- Так он же…

- Иди, говорю. Будешь рядом со стариком - будешь знать, что дома у них творится. Он молчун, но иногда говорит. Особенно когда устанет.

Генка вышел.

Гладких посидел минуту, потом надел плащ и пошёл в мастерские.

Лёха Брагин сидел на перевёрнутом ящике у верстака и пил воду из ковшика, жадно, проливая на спецовку. Сварочный аппарат стоял рядом, укрытый брезентом. Увидев бригадира, Лёха вскочил и чуть не уронил ковш.

- Борис Тимофеевич, я ж сказал, больше ни-ни…

- Сядь, не мельтеши.

Лёха сел обратно на ящик.

- Пахомов вчера тут был?

- Был, - Лёха отвёл глаза. - С железкой своей. Всем показывал.

- Тебе тоже?

- И мне. Спрашивал, чья работа. Я ему: не знаю, у нас тут пять человек варить умеют.

- А он?

- А он посмотрел так… - Лёха поёжился. - И ушёл. Борис Тимофеевич, я ж не знал, на что Генке этот щуп. Он сказал - на рыбалку, раков из нор шуровать.

Гладких смотрел на него сверху вниз. Лёхе было тридцать два, у него было трое детей, жена-доярка и печень, которую врачи в прошлом году обещали отрезать по частям. Варил он лучше всех в районе. Когда был трезвый.

- Слушай меня внимательно, Алексей. Ты про этот щуп ничего не знаешь. Никогда его не видел. Генку в обед не видел. Бутылку не брал. Ясно?

- Ясно, как не ясно.

- И ещё. До первого мая - ни капли. Ни у кого. Ни с кем. Увижу пьяным - уволю по статье, и никакие дети тебе не помогут.

- Понял, Борис Тимофеевич.

Гладких вышел из мастерских, не оглядываясь. Он знал, что Лёха продержится в лучшем случае неделю. Пьющий человек держит слово ровно до первой получки.

Гладких сел за стол и долго смотрел на график. На красную линию, на пунктир, на квадратик с надписью «ПК 47+20. Курган».

Чай в кружке остыл, и на поверхности плавала радужная плёнка. Он вылил его в ведро под столом, налил из чайника свежий кипяток и снова бросил три куска сахара.

«Так хоть людям польза». Кулешов произнёс это теми же словами, которыми Гладких сам себя уговаривал полгода. И почему-то от этого стало ещё противнее.

За окном взревел дизель. Гуров выводил свой бульдозер на площадку для проверки. Старик сидел в кабине прямо, неподвижно, руки на рычагах, и смотрел вперёд, не поворачивая головы. Как будто на параде.

Гладких отвернулся от окна.

Пацан в завале. Дед его откапывает руками. Ночью, один, в балке.

Он вспомнил своего собственного сына, Витьку, который служил сейчас на Дальнем Востоке, и почему-то подумал, что если бы на месте Гурова был он сам, то тоже копал бы руками. И тоже всю ночь. И тоже никому бы этого не простил.

Сахар в кружке растаял. Гладких мешал его ложкой и не мог остановиться.

Глава 5

Сарматовск, пятница, 9 апреля 1971 года. Средняя школа 2.

— Ты галстук не так завязал, — Нинка остановилась посреди улицы и уставилась на мой ворот. — Ты что, и узел вязать разучился?

— Какой ещё галстук? Я в комсомоле.

— Ну так и есть. Значок на месте, а рубашка застёгнута не на ту пуговицу. Стой.

Она привстала на цыпочки и перестегнула мне ворот. Пальцы у неё были ледяные и пахли чернилами.

Мать отпустила меня в школу с третьей попытки. Сначала было «нет», потом «посмотрим», а потом, когда я доказал, что голова не болит, хожу ровно и даже могу пересказать вчерашнюю передачу по радио, махнула рукой: «Иди. Но если что — сразу домой». Мне нужно было в школу. Там были люди, которых знал Костя. Чем раньше я их увижу, тем меньше шансов, что кто-нибудь из них застанет меня врасплох.

Школьную форму я нашёл в шкафу, на вешалке, под чехлом из старой простыни. Серый шерстяной пиджак, брюки со стрелками, ремень с пряжкой. Рукава оказались коротковаты: Костя, видимо, вырос за зиму. На лацкане пиджака сидел комсомольский значок, красный, с профилем Ленина.

Нинка взялась быть моим проводником. Сама, без просьб. Как только мы вышли за калитку, она сунула мне свой портфель, взяла меня под руку и повела, давая пояснения, как экскурсовод.

— Это дом Колесниковых. У них собака злая, кусается. Это Мищенко, где тётя Зина, ты её вчера видел. Это магазин, тут хлеб по утрам. Это колонка. Тут всегда грязь, обходи справа. Это…

— Нин, я понял. Это колонка.

— Ты не понял. Ты прошлой осенью тут в грязь упал, весь класс видел.

— Вот теперь понял.

Школа номер два стояла в центре, недалеко от площади с Лениным. Двухэтажное здание из красного кирпича, с высокими окнами и широким крыльцом. Над входом — лозунг на кумаче: «Учиться, учиться и ещё раз учиться! В. И. Ленин». Во дворе — спортивная площадка с турником и брусьями, а у забора — куча ржавого железа, огороженная штакетником, с табличкой «9 „Б“. Сбор металлолома. Норма — 30 кг на ученика».

— Сегодня после уроков таскаем, — Нинка кивнула на кучу. — У вас «А» класс обгоняет. Света Ломакина вчера ругалась.

— Кто такая Света Ломакина?

Нинка посмотрела на меня с жалостью.

— Комсорг ваш. Она всех строит. Тебя тоже.

У крыльца толпились школьники. Младшие в синих курточках, с красными галстуками, носились по двору, как стая воробьёв. Старшеклассники стояли кучками, курили за углом, хотя курить было, конечно, нельзя. Девочки в коричневых платьях и чёрных фартуках шушукались у входа.

Когда мы с Нинкой подошли, шушуканье стихло. Все повернулись ко мне.

— Ну всё, — прошептала Нинка. — Я пошла. Удачи тебе, Профессор.

И сбежала, бросив меня одного.

Профессор. Значит, так Костю звали в классе. Не самое плохое прозвище для мальчика, который рисует курганы и собирает пятаки. Хуже было бы «Ботаник» или «Очкарик». Впрочем, ботаников в семьдесят первом, кажется, ещё не изобрели.

Я поднялся на крыльцо, стараясь не смотреть по сторонам. Внутри пахло мастикой для пола, мелом и подгоревшей кашей из столовой. На стене напротив входа висел портрет Ленина в золотой раме и стенд «Ими гордится школа» с фотографиями отличников. В углу стояли вешалки, где дежурные с красными повязками на рукавах принимали пальто.

В раздевалке меня догнал коренастый парень с соломенными вихрами и широким, курносым лицом. Он хлопнул меня по плечу так, что я чуть не уронил Нинкин портфель.

— Профессор! Живой!

— Живой вроде.

— Ну ты даёшь! — он оглядел меня с ног до головы. — Говорят, ты в курган залез, тебя там завалило, дед откапывал. И что ты там три часа лежал.

— Меньше. Минут пять, наверное.

— А говорят — три часа, — парень, похоже, был разочарован. — И чего ты там искал?

— Не помню.

— Что, совсем?

— Совсем. Я тебя, например, тоже не помню.

Парень открыл было рот и тут же его захлопнул.

— Да брешешь.

— Не брешу. Честно.

— Гоша я. Бурцев. Мы с тобой за одной партой с пятого класса. Ты у меня алгебру списываешь, а я у тебя историю. У меня мопед «Рига», зелёный. Я тебя на нём в прошлом месяце до Гнилой балки возил. Не помнишь?

— Не помню.

Гоша почесал затылок.

— Ну дела. Ладно. Пошли, звонок сейчас. Литература первая. Ирина Павловна сегодня злая, у неё сын в армию уходит.

***

Класс девятый «Б» располагался на втором этаже, в конце коридора. Тридцать парт в три ряда, доска, учительский стол, над доской — портреты Толстого, Достоевского и Горького. На стенах — таблицы, стенгазета «Комсомольский прожектор», кадка с фикусом у окна.

Когда я вошёл, тридцать голов повернулись в мою сторону, как подсолнухи. Разговоры смолкли.

— Здорово, Профессор! — крикнул кто-то с задней парты.

— И тебе здорово, — отозвался я и пошёл за Гошей ко второму ряду.

Наша парта стояла в середине, у прохода. Гоша сел слева, я справа. Парта была деревянная, с откидной крышкой и чернильницей-непроливайкой в гнезде, хотя перьевыми ручками уже давно никто не писал. На крышке кто-то вырезал перочинным ножом: «Г + Т =?» и чуть ниже, другим почерком: «Профессор — зануда».

Я провёл пальцем по надписи. Гоша покраснел.

— Это не я, — быстро буркнул он. — Это Кузя в седьмом классе. Я его потом в туалете макнул.

— Спасибо, Гош.

— Да ладно, чего ты.

Прозвенел звонок. Электрический, резкий, как сигнал воздушной тревоги. В класс вошла учительница.

Ирина Павловна оказалась женщиной лет пятидесяти, худой и прямой, в тёмно-синем костюме с белой блузкой. Волосы собраны в узел на затылке, на носу — очки в роговой оправе. В руках — классный журнал и стопка тетрадей. Класс встал, громыхнув крышками парт.

— Садитесь, — она положила журнал на стол. Окинула класс взглядом и задержалась на мне. — Рябинин. Как самочувствие?

— Хорошо, Ирина Павловна. Спасибо.

— Мама звонила. Говорит, у тебя частичная потеря памяти. Это правда?

— Правда, Ирина Павловна.

— Что ж, — она сняла очки, протёрла их платком и снова надела. — Значит, «Войну и мир» тебе придётся перечитывать заново. Счастливый человек.

Класс засмеялся. Я тоже. Ирина Павловна, кажется, была не так уж зла.

Урок был про Андрея Болконского и небо Аустерлица. Ирина Павловна читала вслух отрывок,потом задавала вопросы, потом вызывала к доске. Меня не вызвала, только поглядывала время от времени, проверяя, слушаю ли.

Я слушал. «Войну и мир» я перечитывал в последний раз лет в сорок, в экспедиции, когда на неделю зарядили дожди и нечего было делать, кроме как сидеть в палатке. Читал тогда совсем другими глазами, чем в школе. Болконский казался мне не героем, а очень уставшим человеком, которому надоело жить по чужим правилам.

Сейчас, сидя за школьной партой в теле шестнадцатилетнего, я слушал про небо Аустерлица и думал, что Толстой знал что-то очень важное про смерть. Что после неё всё становится тихим и далёким. И что потом можно встать и пойти дальше. Только идти придётся совсем другим человеком.

— Рябинин, — голос учительницы вырвал меня из задумчивости. — Ты где витаешь?

— Под Аустерлицем, Ирина Павловна.

Класс снова засмеялся. Учительница посмотрела на меня с интересом.

— И что ты там видишь?

— Небо, — я пожал плечами. — Высокое. И понимаю, что всё, за что я раньше переживал, было не очень важно.

В классе стало тихо. Ирина Павловна смотрела на меня поверх очков, и я понял, что опять ляпнул что-то не Костино. Что-то слишком взрослое.

— Хорошо, — наконец произнесла она. — Очень хорошо, Рябинин. Сядь. Это, кстати, и есть ответ на мой следующий вопрос.

***

На перемене ко мне подошла девушка.

Высокая, стройная, с тёмными волосами, подстриженными под каре, и короткой чёлкой. Коричневое платье, чёрный фартук с комсомольским значком и ещё каким-то, синим с белым. Лицо серьёзное, даже строгое, нос с лёгкой горбинкой. В руках — блокнот.

— Рябинин, — она встала у нашей парты, как прокурор. — Ты в курсе, что у тебя хвост по металлолому?

— Света, отстань от человека, — Гоша поднял голову. — Он больной.

— Больные лежат дома. А раз пришёл в школу, значит, здоровый, — она раскрыла блокнот. — Рябинин, по ведомости за тобой двадцать два килограмма. У «А» класса уже девятьсот, у нас семьсот восемьдесят. Если сегодня не наберём, вымпел опять уйдёт к ним.

Значит, это и есть Света Ломакина, комсорг. Я её сразу признал по нинкиной характеристике. Строит всех. Меня тоже.

— Сегодня после уроков, — я кивнул. — Наберу.

— И ещё, — Света перевернула страницу. — Двенадцатого апреля линейка. Десять лет полёту Гагарина. С нас стенгазета. Ты рисуешь портрет. Как обычно.

— Как обычно?

— Ну да. Ты же у нас художник, — она нахмурилась. — Только не говори, что разучился.

Я посмотрел на свои руки. На тонкие, худые пальцы с обгрызенными ногтями. Костя, оказывается, умел рисовать. Его курганы в тетради были нарисованы чисто, уверенно, с тенями и штриховкой. А я в своей прошлой жизни рисовал только планы раскопов, и то по клеточкам миллиметровки. Человеческое лицо у меня выходило похожим на картофелину с ушами.

— Может, и разучился, — честно признался я. — Не знаю. Попробую.

— Попробуй, — Света захлопнула блокнот. — Понедельник, восемь утра. Портрет должен висеть.

Она ушла, громко стуча каблуками.

— Вот зараза, — с восхищением выдохнул Гоша. — Она в райкоме говорила, что у неё лучший класс в районе. Теперь доказывает.

— А кто ещё в классе рисует? Кроме меня?

Гоша задумался.

— Ну… Гордеева. Лидка. Она тоже рисует, только всё больше цветочки. И натюрморты. Её в стенгазету не берут, Света говорит, у неё слишком несерьёзно.

— Где она сидит?

Гоша кивнул на третий ряд, к окну.

У окна, за последней партой, сидела девочка с длинной русой косой, переброшенной через плечо. Она что-то рисовала в тетради, низко наклонив голову, и не обращала внимания на шум перемены. Когда я посмотрел на неё, она подняла глаза.

Глаза у неё были светло-карие, почти янтарные, и смотрели прямо. Не робко, не кокетливо. Внимательно, как смотрит на тебя человек, который пытается что-то понять. Она задержала на мне взгляд на секунду дольше, чем нужно, и снова опустила голову к тетради.

— Чего ты на неё уставился? — Гоша ткнул меня локтем.

— Просто так.

— Ага. Просто так, — Гоша ухмыльнулся. — Ты на неё весь прошлый год уставлялся. Только подойти боялся.

— Что, правда?

— Ну. Тебе ж сказали, профессор. Цветочки, натюрморты, а ты — курганы. Вы бы с ней друг друга не поняли.

Остаток дня прошёл как в тумане. Алгебра, где я к своему ужасу обнаружил, что совершенно не помню, как решать тригонометрические уравнения: последний раз я их видел сорок пять лет назад и с тех пор благополучно забыл. Учительница математики, полная и добродушная, сжалилась и не стала меня вызывать. Физика, где всё вышло наоборот.

Физик, Пётр Семёнович, маленький, лысый, в кургузом пиджаке с мелом на рукавах, начал урок с вопроса на засыпку.

— Кто мне объяснит, почему утром у мотоцикла на морозе не заводится двигатель? Бурцев, ты у нас на мопеде гоняешь. Давай.

Гоша встал, покраснел и понёс что-то про аккумулятор, который «садится от холода». Пётр Семёнович послушал, покачал головой и обвёл глазами класс.

— Ещё версии?

С задней парты поднялся широкоплечий парень с узким лбом и стрижкой под полубокс.

— А потому что бензин замерзает, Пётр Семёныч!

Класс заржал.

— Кузьмин, если бы бензин замерзал, у нас бы вся страна зимой пешком ходила, — физик снял очки. — Ещё?

Я поднял руку раньше, чем подумал. Привычка: за сорок лет на кафедре я так и не научился молчать, когда знаю ответ.

— Масло густеет, Пётр Семёнович. Стартеру тяжело провернуть коленвал. А бензин на холоде плохо испаряется, смесь в цилиндре получается бедная, искра её не поджигает. Поэтому подсос и прогревают.

Пётр Семёнович надел очки обратно и посмотрел на меня так, будто я заговорил по-китайски.

— Рябинин, ты где этого набрался?

— Не помню, — честно ответил я.

— Головой надо почаще стукаться, Профессор! — крикнул Кузьмин с задней парты.

На этот раз класс заржал над ним.

***

География, история, физкультура, с которой меня отпустили по справке.

На большой перемене в столовой давали пирожки с повидлом по пять копеек и компот из сухофруктов по три. Я купил на свою двадцатикопеечную монету по два того и другого, для себя и Гоши. Гоша посмотрел на меня как на сумасшедшего.

— Ты чего, богатый стал?

— Ты меня от Кузи защищал. Это благодарность.

— Это ж в седьмом классе было!

— Ну и что. Благодарность срока давности не имеет.

Гоша взял пирожок, откусил и задумчиво прожевал.

— Знаешь, Профессор, — пробормотал он с набитым ртом. — Ты какой-то другой стал.

— Это какой же?

— Не знаю. Взрослый, что ли. Раньше ты всё молчал, а если говорил, то про курганы и скифов. А сейчас вроде нормальный.

— Это плохо?

— Не, это хорошо, — Гоша запил пирожок компотом. — Только непонятно. Слушай, а Генку ты тоже не помнишь?

Я поставил стакан на стол.

— Какого Генку?

— Сычёва. Ну Генку же. Который из армии пришёл. Ты с ним весь март крутился. Я тебе говорил, он мутный. А ты всё: он про курганы много знает, он мне помогает. Вот и допомогался.

— Не помню никакого Генку.

— Ну и хорошо, — Гоша вздохнул. — Хорошо, что не помнишь. Я тебя в марте на мопеде до балки довёз, ты с ним там и ушёл. А на дороге, у лесополосы, серая «Волга» стояла. Пустая. Я ещё подумал: чего начальству в балке делать?

— Чья «Волга»?

— Да откуда я знаю. Серая. Номер не смотрел, — Гоша почесал затылок. — Мне тогда до лампочки было. Он мне не нравится. Он с этими, с Кулешовскими, водится. И дядька у него — Гладких, бригадир, у которого твой дед работает. Говорят, Генка у него теперь на трассе. Тоже на бульдозере.

Генка Сычёв. Из армии. Племянник Гладких. Крутился с Костей весь март.

«Г. говорит, ещё две ночи».

Пакет пополнился.

***

После уроков мы таскали металлолом. Весь девятый «Б», тридцать человек, рассыпался по окрестным улицам с тачками и носилками. Гоша где-то раздобыл тележку на подшипниках, и мы с ним отправились по дворам частного сектора. Спрашивали у хозяев: есть ли что ненужное, железное? Хозяева выносили ржавые вёдра, старые кастрюли, сломанные утюги, куски труб. Одна бабушка, маленькая, в чёрном платке, вынесла нам целую спинку от железной кровати, с никелированными шариками на углах.

— Забирайте, сынки, — она провела по спинке ладонью, как по спине кошки. — Мой дед на этой кровати тридцать лет спал. Помер в позапрошлом году, а я всё выкинуть не могу. Пусть хоть на трактор пойдёт. Он у меня всю жизнь на «Беларусе» пахал.

— Пойдёт, бабушка, — пообещал Гоша. — Обязательно на трактор.

Я посмотрел на никелированные шарики и рассмеялся. Гоша не понял почему, а бабушка обиделась, и пришлось долго объяснять, что смеюсь я не над её дедом.

К пяти часам мы притащили к школе сорок восемь килограммов. Света Ломакина взвесила всё на напольных весах, записала в блокнот и посмотрела на меня с удивлением.

— Двадцать четыре на брата, Рябинин. Хвост закрыт.

— Служу Советскому Союзу.

Света хмыкнула, но глаза у неё смеялись.

Уже уходя со школьного двора, я увидел её. Лида Гордеева стояла у калитки, прижимая к груди портфель. Ждала. Явно меня: больше никого во дворе не осталось.

— Гош, иди. Я догоню.

Гоша посмотрел на Лиду, потом на меня, понимающе ухмыльнулся и ушёл, толкая перед собой опустевшую тележку.

Я подошёл к калитке.

— Привет. Ты меня ждёшь?

— Тебя, кого же ещё, — Лида смотрела на меня снизу вверх. Вблизи она оказалась ниже, чем я думал, мне по плечо. Веснушки на носу, серьёзные глаза, и чернильное пятнышко на указательном пальце. — Ты правда ничего не помнишь?

— Правда. Почти ничего.

— И меня?

— И тебя. Извини.

Она помолчала, разглядывая меня. Потом расстегнула портфель и достала книжку. Библиотечную, в синем потёртом переплёте, с каталожной карточкой в кармашке на обороте обложки.

— Ты мне её во вторник дал. Шестого. Утром, перед уроками. Сказал: подержи до пятницы. Если не заберу, отнеси в библиотеку. И никому не показывай.

Я взял книжку. «Скифы. Очерки по истории и культуре». Тоненькая, научно-популярная, издание шестидесятых годов. Я такую читал в детстве. Может, даже этот самый экземпляр. Шрифт, обложка, запах старой бумаги — всё было знакомо до мурашек.

— Я подумала, ты передумал. Раз в больницу попал, — Лида не сводила с меня глаз. — А сегодня пятница. Вот. Забери.

— Спасибо, Лида.

— Ты меня по имени назвал.

— А как надо было?

— Ты меня никогда по имени не называл. Только Гордеевой, — она вдруг смутилась и отвела взгляд. — Ладно. Я пойду.

Она повернулась и быстро пошла по улице, не оглядываясь. Коса качалась у неё за спиной.

Я смотрел ей вслед. Потом перевёл взгляд дальше, на угол улицы, где у газетного киоска стоял парень в солдатской шинели без погон. Высокий, сутулый, с сигаретой. Он смотрел в мою сторону. Когда я его заметил, он отвернулся к витрине киоска и сделал вид, что разглядывает журналы.

Шинель без погон. Из армии.

Я не подал виду. Сунул книжку под мышку и пошёл домой. Не оглядываясь. Как Лида.

Через квартал я остановился у витрины хозяйственного магазина и стал разглядывать выставленные в ней вёдра, тазы и керосиновые лампы. В стекле отражалась улица. Шинель стояла у забора на противоположной стороне и тоже что-то разглядывала. Забор, видимо.

Я свернул в переулок, хотя к дому было ближе прямо. Обошёл квартал, вышел к колонке, где всегда грязь, и обошёл её справа, как учила Нинка. Шинель шла следом метрах в пятиде-

сяти. На углу Степной, где кончался асфальт, она остановилась, постояла, закурила и повернула обратно.

Хвост. Неумелый, заметный, как гусь в курятнике, но хвост. В последний раз за мной так ходили в девяносто седьмом, под Новочеркасском, когда та бригада грабителей пыталась выяснить, где мы держим их щупы. Тогда я был тридцатилетним мужиком с двумя милиционерами в лагере. Сейчас мне было шестнадцать, и у меня был Жулик.

Дома никого не было. Дед на базе, мать спит после ночной смены за закрытой дверью спальни, Нинка у подружки. Только Жулик встретил меня у калитки, ткнулся носом в колени и проводил до крыльца.

Я прошёл в свою комнату, сел за стол и открыл книжку.

Между страниц, где-то в середине, лежал сложенный вчетверо тетрадный листок в клеточку. Я развернул его.

Почерк был Костин. Мелкий, с наклоном вправо. Только неровный, торопливый, как в последней записи в тетради.

«Если со мной что-то будет — отдай тетрадь Е. М. Штерну. Он знает, что делать.

Не Шубину! Шубину нельзя!»

И ниже, ещё мельче, почти неразборчиво:

«Олень в музее — не настоящий».

Глава 6

Сарматовск, суббота, 10 апреля 1971 года. Трасса канала, пикет 47.

Отец вернулся в пятницу поздно вечером, когда я уже лежал в постели и в третий раз перечитывал Костину записку при свете фонарика.

Сначала во дворе залаял Жулик, потом стукнула калитка, потом в сенях загрохотали тяжёлые сапоги. Мать вскрикнула. Дальше разговор стал тише: мать что-то быстро и сбивчиво рассказывала, мужской голос переспрашивал, низкий, хрипловатый. Потом шаги приблизились к моей двери, и я едва успел сунуть записку под подушку.

Дверь открылась. В проёме, заслонив собой свет из коридора, стоял крупный мужчина в замасленной куртке. Широкие плечи, большие руки, тёмные волосы, примятые шапкой. Лица против света я не различал, только видел, что он стоит и смотрит.

— Не спишь, Костя?

— Не сплю, пап.

Он подошёл, сел на край кровати, и та прогнулась под ним. От него пахло бензином, дорогой и табаком. Он протянул руку, неловко, как будто боялся сломать, и положил её мне на голову.

— Ну ты, брат, даёшь, — голос у него сел. — Ну ты даёшь.

Больше он ничего не произнёс. Посидел так минуту, держа ладонь у меня на макушке, потом встал и вышел.

Я лежал и думал о том, что у меня никогда не было такого отца. Мой собственный ушёл из семьи, когда мне было четыре, и я его видел потом раза три, всё больше на чужих свадьбах. А этот человек, похоже, не знал ни одного правильного слова, но знал, куда положить руку.

Около полуночи у нашей калитки остановилась машина. Мотор у неё работал тихо, мягко, почти шёпотом. Я подошёл к окну и отодвинул край занавески. В свете уличного фонаря угадывался силуэт: длинный капот, хромированная решётка, светлый кузов. Из машины никто не вышел. Зато через пару минут хлопнула наша входная дверь, и я увидел, как отец в одной майке и галифе идёт к калитке.

Говорили они минут десять. Отец стоял, сунув руки в карманы, и молчал. Из машины доносился ровный, негромкий голос, слов я не разобрал. Потом машина развернулась и уехала, а отец ещё долго стоял у калитки и курил.

Когда он вернулся в дом, мать спросила его что-то шёпотом. Он ответил коротко и зло: «Спи». И всё стихло.

Серая «Волга». Гоша видел такую у Гнилой балки.

***

Суббота в семьдесят первом году была учебным днём. Шесть уроков, только короче, и домой к двум. На первой же перемене я выпросил у Гоши листок ватмана и попробовал нарисовать Гагарина.

Получилось то, чего я боялся. Овал головы съехал набок, глаза вышли разного размера, а знаменитая гагаринская улыбка превратилась в оскал человека, который сел на кнопку. Гоша посмотрел на мой шедевр и долго молчал.

— Профессор, — наконец осторожно выговорил он. — Это кто?

— Гагарин, кто ж ещё.

— А почему он такой злой?

— Он не злой. Он сосредоточенный. Он в космосе.

— А-а, — Гоша кивнул с серьёзным видом. — Ну, в космосе, конечно. Там, наверное, страшно.

Я скомкал ватман и сунул в портфель. Света Ломакина ждала портрет в понедельник к восьми. До срока оставалось два дня, и у меня был ровно один вариант.

Лида Гордеева сидела у окна и рисовала в тетради. Я посмотрел на неё через весь класс. Она, словно почувствовав, подняла голову. Секунду мы смотрели друг на друга. Потом она снова склонилась над тетрадью.

Ладно. Это потом.

После уроков Гоша поймал меня на крыльце.

— Ты куда?

— К деду. На трассу.

— Пешком? Это ж четыре километра. Тебе мамка что сказала?

— Никуда без спросу.

— Ну и?

— Я спросил. Себя. Себе разрешил.

Гоша захохотал.

— Ну ты даёшь, Профессор. Пошли, довезу. Мопед за углом.

Мопед «Рига» оказался ярко-зелёным, с хромированным баком и кожаным седлом на двоих. Гоша любовно протёр бак рукавом, перекинул ногу и принялся крутить педали, чтобы завести. Мотор чихнул, затарахтел, выпустил облако сизого дыма, и мы покатили.

Ехали по грунтовке, мимо последних домов Степной, мимо огородов и бахчей, мимо колхозной кошары, где пахло овцами и прелым сеном. Мопед подпрыгивал на ухабах, я держался за Гошины плечи и чувствовал себя одновременно идиотом и абсолютно счастливым человеком. Ветер бил в лицо, пах полынью и пылью. Над степью висели жаворонки. В последний раз я ездил на мопеде лет в двенадцать, в деревне у тётки, и тот драндулет развалился на второй день.

Трассу канала я увидел издалека.

Сначала показалась насыпь: длинный рыжий вал, протянувшийся по степи с запада на восток, ровный, как по линейке. За валом — само русло, широкая траншея с пологими откосами, местами уже облицованная бетонными плитами. Плиты лежали ровными рядами, серые, свежие. Там, где облицовки ещё не было, торчала голая глина, изрезанная следами гусениц.

На трассе работала техника. Бульдозеры ползали вдоль русла, срезая и выравнивая откосы. Скрепер возил грунт в отвал. Экскаватор на краю траншеи, похожий на гигантского журавля, поднимал и опускал ковш.

А дальше, километрах в полутора, там, где пунктир на карте упирался в квадратик, поднимался курган.

Высокий, метров пять, с плавными склонами, поросшими ковылём и прошлогодней полынью. Вершина чуть оплыла, на ней торчал ржавый геодезический знак, треногой. Курган стоял прямо на оси будущего канала, и я видел, как к нему с запада подбиралась траншея, будто стая к больному зверю.

Пятый курган у Гнилой балки.

— Вон твой дед, — Гоша показал на бульдозер у самого подножия.

Бульдозер был жёлтый, облезлый, с огромным отвалом впереди. Двигатель работал на холостых. Рядом с бульдозером стояли двое: дед и высокий сутулый парень в солдатской шинели без погон.

Генка.

Я слез с мопеда и пошёл к ним, не торопясь. Гоша остался у насыпи, сославшись на то, что ему надо подтянуть цепь.

Дед увидел меня первым. Лицо у него вытянулось, потом потемнело.

— Ты как здесь? — он шагнул навстречу. — Мать знает?

— Нет. Я к тебе, деда. Посмотреть.

— Посмотреть, — дед покачал головой. — Ему лежать надо, а он на трассу. Посмотреть он пришёл.

Генка стоял за его спиной и смотрел на меня. Лицо у него было бледное, с прыщами на подбородке, глаза бегали. Сигарета в пальцах подрагивала. Он ждал. Ждал, что я его узнаю. Или скажу что-нибудь. Или просто дам знак.

Я посмотрел на него спокойно, как смотрят на незнакомого человека.

— Здравствуйте. Мы знакомы?

Генка поперхнулся дымом.

— Ты чего, Костян? — голос у него был сиплый. — Ты меня не узнаёшь, что ли?

— Нет. Извините. Я после больницы почти никого не помню. А вы кто?

Генка переводил взгляд с меня на деда и обратно. На лице у него медленно проступало облегчение, смешанное с недоверием. Как у человека, который ждал удара, а получил рукопожатие, и теперь не может понять, в чём подвох.

— Генка я. Сычёв, — наконец выдавил он. — Мы с тобой… это… знакомы были. Немножко.

— Понятно. Извините, Гена.

— Да ничего, — Генка выкинул сигарету и отвернулся. — Ничего. Бывает.

Дед смотрел на нас обоих и хмурился. Он, кажется, тоже чего-то не понимал.

— Ладно, — дед махнул рукой. — Раз пришёл, сиди в кабине и не высовывайся. Мне сейчас пробный проход делать.

— Какой ещё пробный?

— Бригадир велел, — дед сплюнул. — Говорит, в понедельник начинать поздно, надо уже сегодня полу срезать. Чтобы, значит, график нагнать.

— Полу кургана?

— Её. Вон, видишь колышки?

Я увидел. Вдоль подножия кургана, по западному склону, тянулась линия деревянных колышков с белыми тряпочками. Ось канала проходила не через центр насыпи, а чуть сбоку, срезая её край — полу, как говорят археологи. Значит, центральное погребение пока останется нетронутым. А вот то, что в поле…

В полах курганов часто бывают впускные погребения. Более поздние, чем сама насыпь. Люди приходили спустя сто лет, пятьсот, тысячу и хоронили своих мёртвых в чужой холм: место высокое, грунт рыхлый, копать легче. В донских курганах я находил в полах сарматов, половцев, иногда даже ордынцев. Иногда по шесть-семь погребений в одной насыпи, одно над другим, как слоёный пирог.

— Деда, а можно не сегодня?

— Нельзя, — дед уже лез в кабину. — Сказал же. Садись.

Кабина ДТ-75 была тесной, как телефонная будка. Пахло соляркой, горячим железом и махоркой. Сиденье было одно, продавленное, обтянутое дерматином. Я втиснулся рядом, на ящик с инструментами. Дед взялся за рычаги.

Бульдозер дёрнулся, качнулся и пополз. Отвал опустился, вгрызся в землю. Перед ним поднялся вал рыхлого грунта и пополз вместе с машиной. Земля сыпалась с краёв отвала, текла, как вода. Двигатель ревел так, что закладывало уши.

Первый проход прошёл по самому краю полы, неглубоко, сантиметров на тридцать. Дед вёл машину ровно, без рывков, как пишут ровным почерком. Я невольно залюбовался. Бульдозеристы такого класса в моё время встречались одни на сотню. Их берегли, их переманивали, за них дрались прорабы.

Второй проход взял глубже.

На третьем проходе я увидел кость.

Она выкатилась из-под отвала, белая, длинная, с утолщением на конце, и легла на гусеничный след. Бедренная. Человеческая. Взрослого мужчины.

— Деда, стой!

Дед не услышал. Двигатель ревел, отвал полз дальше, земля сыпалась. Я схватил его за рукав, тряхнул, показал рукой. Он посмотрел, куда я показывал, и ударил по рычагам. Бульдозер дёрнулся и замер. Двигатель забормотал на холостых.

Я выскочил из кабины.

В срезе, который оставил отвал, проступало тёмное пятно. Овальное, метра два в длину, с чёткими краями. Заполнение темнее, чем окружающий суглинок, с угольками и кусочками обожжённой глины. Могильная яма. Отвал срезал её верхнюю часть, а нижняя осталась в земле. В пятне торчали кости: рёбра, позвонки, обломок черепа.

И что-то ещё.

Я присел на корточки. Из земли у самого края пятна выглядывал зелёный край металлического диска. Небольшого, с ладонь, с ободком по краю. Бронза. На ободке — едва различимый узор из насечек. Я не стал его трогать. Только наклонился ниже и разглядел, что с обратной стороны торчит маленькая петелька.

Зеркало. Сарматское, с боковой петелькой. Первые века нашей эры, если я ничего не путаю.

Впускное погребение. Сармат, похороненный в скифской насыпи лет через пятьсот после её сооружения. Его положили в яму вместе с зеркалом, а может, ещё с оружием или сосудом. А потом пришёл бульдозер и срезал ему голову.

— Что там? — дед подошёл сзади, тяжело дыша.

— Погребение, деда. Человек.

— Да я вижу, что человек, — он перекрестился, уже не прячась. — Господи.

Подошёл и Генка. Остановился в двух шагах, уставился на кости, на зелёный диск. Глаза у него стали жадными и испуганными одновременно.

— Это чего? Золото?

— Бронза, — я поднялся. — Зеркало. Ничего не стоит.

Это была неправда. Сарматское зеркало с орнаментом стоило бы у Ведерникова, или у кого угодно в Москве, рублей двести, а то и триста. Но Генке это знать было ни к чему.

— А-а, медяшка, — Генка потерял интерес. Не до конца, но заметно.

Со стороны насыпи донёсся рёв мотора. По грунтовке, переваливаясь и разбрызгивая грязь, к нам подъезжал зелёный «газик» с брезентовым верхом. Затормозил в десяти метрах. Из него вылез мужчина лет пятидесяти, в брезентовом плаще и кепке, с планшетом под мышкой.

Невысокий, коренастый, с широким красным лицом и короткими рыжеватыми усами. Шёл он быстро, вразвалку, как ходят люди, которые всю жизнь провели на ногах.

— Семён Ильич, почему стоим? — голос у него был громкий, привыкший перекрикивать двигатели. — Я тебе что сказал? До вечера полу снять!

— Кости, Тимофеич, — дед показал на пятно. — Человек тут лежит.

Гладких подошёл, посмотрел на кости, на зеркало, на меня. Задержал на мне взгляд. Узнал.

— А это кто у нас? Рябинин-младший? Ты здесь откуда?

— Приехал посмотреть, — честно ответил я.

— Посмотрел? Всё, давай домой. Нечего тут под ногами крутиться, — он повернулся к деду. — Кости — это кости. В каждом кургане кости. Ты их двадцать лет сгребаешь. Давай дальше.

— Нельзя дальше, Борис Тимофеевич.

Возразил не дед, а я. Голос вышел ломкий, мальчишеский, но я заставил себя смотреть Гладких прямо в глаза.

Он медленно повернулся ко мне.

— Это ещё чего?

— Нельзя дальше. Вы нашли человеческие останки. По закону о любых костях, найденных при земляных работах, нужно сообщить в милицию. Работы приостанавливаются до осмотра. Иначе это сокрытие.

В наступившей тишине было слышно, как бормочет двигатель бульдозера. Генка открыл рот. Дед смотрел на меня так, будто увидел в первый раз.

— Ты, пацан, мне закон читать будешь? — Гладких навис надо мной. Лицо у него налилось кровью. — Это древние кости! Им тыща лет! Какая, к чёрту, милиция?

— А как вы знаете, что им тыща лет?

— Да потому что курган! Все это знают!

— А если в этот курган кто-нибудь закопал человека в прошлом году? — я пожал плечами. — Вы это на глаз определите? Или я? Или Гена? Это определяет экспертиза. Поэтому и вызывают милицию. Участковый приедет, посмотрит, составит акт. Если кости древние, он вызовет специалиста из музея или из института. Специалист оформит находку. И тогда работайте сколько хотите.

Всё это было правдой в две тысячи двадцать шестом году, в девяносто седьмом и, насколько я помнил историю, в семьдесят первом тоже, хотя тогда об этом мало кто знал и ещё меньше кто соблюдал. Человеческие кости в любом грунте были поводом для милиции. Всегда. Даже если им три тысячи лет.

Гладких молчал. Я видел, как у него ходят желваки. Видел, как он прикидывает: акт, участковый, Пахомов со щупом в наволочке, расспросы в мастерских, человек, которого не купишь. И такой приедет сюда через три дня после того, как у соседнего холма из завала вытащили мальчишку.

— Мне план выполнять, — наконец тяжело выговорил он. — Двадцать седьмого бетон. Если к двадцатому не будет русла, бетон уйдёт на Багаевку, а моя бригада останется без премии. Двадцать семь человек. Ты им будешь объяснять про закон?

— Я им объясню, что лучше потерять премию, чем пойти под суд.

— Под какой ещё суд?

— За уничтожение памятника. Курган у Гнилой балки состоит на учёте с тридцать шестого года. Если вы его срежете без разрешения и без раскопок, это статья. Не ваша, конечно. Того, кто подписал проект. Но и вас по головке не погладят.

Я не знал, состоит ли пятый курган на учёте. Скорее всего, нет: в тридцатые годы учёт был условный, а потом его и вовсе потеряли. Но Гладких этого тоже не знал. А Шубин в больнице произнёс: «Памятник археологии, состоящий на учёте». Про четвёртый. Значит, и пятый мог там стоять.

Бригадир долго смотрел на меня. Потом перевёл взгляд на деда.

— Это ты его научил, Семён Ильич?

— Чему это?

— Законам этим. Учётам. Экспертизам.

— Я его ничему не учил, — дед вытер руки ветошью. — Он сам всё знает. Головой ударился, вот и знает.

Генка нервно хохотнул. Гладких бросил на него такой взгляд, что смех оборвался.

— Значит так, — бригадир повернулся к деду. — Сегодня заканчиваем. Яму эту брезентом закрой, чтобы не растащили. Завтра воскресенье. А в понедельник с утра ты сюда приедешь и срежешь полу до отметки. Без всяких милиций. Понял?

— Не поеду я по костям, Тимофеич, — дед произнёс это тихо, но твёрдо.

— Ты что сказал?

— Не поеду, говорю. Двадцать лет ездил. Хватит. Пусть милиция смотрит. Пусть из музея кто приедет. А по человеку я больше не поеду.

Гладких открыл рот, закрыл. Лицо у него сделалось багровым.

— Ты что, Гуров, в своём уме? У меня график!

— А у меня внук, — дед посмотрел на меня. — Который в таком же кургане чуть не помер. Хватит, Тимофеич. Я своё отвоевал.

Гладких развернулся ко мне. Я видел, что он хочет ударить. Не меня, а что-нибудь: машину, отвал, землю. Кулаки у него сжались, побелели в костяшках.

Потом медленно разжались.

— Значит, так, Семён Ильич, — голос у него стал тихим и очень ровным. — Завтра. В понедельник, в семь утра, ты на этом месте. И ты срезаешь полу. Или пишешь заявление. По собственному. Выбирай.

Он повернулся и пошёл к «газику». На полпути обернулся.

— Генка! Поехали.

Генка вздрогнул, бросил на меня быстрый, непонятный взгляд и побежал к машине. «Газик» развернулся, взревел и уехал, разбрызгивая грязь.

Мы с дедом остались у кургана вдвоём. Бульдозер бормотал на холостых. Над степью звенели жаворонки. В срезе лежал мёртвый сармат с бронзовым зеркалом у плеча.

— Деда, — тихо позвал я. — Прости. Я не хотел, чтобы так.

Дед долго молчал. Потом достал кисет, свернул самокрутку, закурил. Дым поплыл над курганом, сизый, горький.

— Ты не извиняйся, — наконец пробормотал он. — Ты правильно всё сказал. Я сам тридцать лет так думал. Только сказать боялся.

— Чего боялся?

— Да того самого. Заявления, — он затянулся. — Мне шестьдесят три, Костя. Пенсия через два года. Если сейчас уволят, никуда не возьмут. А у вас с Нинкой отец… Отец сам знаешь какой.

Я не знал. Но вспомнил серую «Волгу» у калитки, отца в майке, который курил в темноте, и слово «спи», произнесённое зло и коротко.

— Брезент где? — спросил я.

— В кабине.

— Давай накроем. Сначала колышками огородим, потом брезентом. И камнями прижмём, чтобы ветром не сдуло. И чтобы собаки не растащили.

Дед посмотрел на меня с каким-то странным выражением. Будто пытался что-то вспомнить и не мог.

— Ты прям как прораб. Командуешь.

— Не командую. Прошу.

— Ну, раз просишь… — он докурил, затоптал окурок сапогом и полез в кабину за брезентом.

Мы закрывали погребение минут сорок. Вбили колышки, натянули верёвку, расстелили брезент, прижали его по краям кусками глины и камнями, которые натаскали из отвала. Гоша подошёл, когда мы заканчивали, и молча стал помогать. Он ничего не спрашивал, только косился на меня и на деда.

Когда всё было готово, я отошёл на несколько шагов и посмотрел на наш брезент. Серый прямоугольник на рыжей земле, у подножия пятиметрового кургана, на трассе будущего канала. Ненадёжная защита. Один порыв ветра, одна ночь, один бульдозер — и всё.

Обратно Гоша вёз меня медленно, объезжая ямы. Деда мы оставили у бульдозера: он пообещал отогнать машину на базу сам, а нам велел ехать, пока мать не хватилась.

На полпути Гоша заглушил мотор и обернулся.

— Профессор, ты откуда про законы знаешь? Про экспертизу эту, про учёт?

— В газете читал.

— В какой?

— Не помню, — я пожал плечами. — Голова такая стала. Что-то помню, что-то нет.

Гоша посмотрел на меня долгим взглядом, совсем как физик на уроке.

— Генка на тебя смотрел как на привидение. Ты видел?

— Видел, конечно.

— А Гладких чуть не лопнул, — Гоша вдруг ухмыльнулся во весь рот. — Красный был, как помидор. Его так ещё никто не отбривал. Тем более пацан.

— Гош, — я помолчал. — Можешь мне помочь?

— Смотря в чём.

— Мне надо знать, кто ездит к Гнилой балке по ночам. На чём ездят. Когда. Только не подходить, близко не лезть. Издалека.

Гоша перестал улыбаться.

— Ты опять туда собрался?

— Не сейчас. Потом. Мне сначала к одному человеку надо.

— К какому?

— К Штерну.

Гоша долго молчал. Потом снова закрутил педали, мотор чихнул и затарахтел.

— Ладно, — прокричал он сквозь треск. — Подумаю. Только мопед мой не трогай, если что. Он мне как брат.

До понедельника, семи утра, оставалось сорок часов.

Глава 7

Сарматовск, воскресенье, 11 апреля 1971 года. Дом Штерна на Береговой улице.

Дом Штерна я нашёл по Костиной карте.

На ней, в самом углу, у излучины Сармы, карандашом был нарисован маленький квадратик и подписано: «Е. М.». А рядом стрелка от школы, с пометкой «15 мин». Костя явно ходил сюда так часто, что дорогу мог бы пройти с закрытыми глазами. Мне пришлось идти с открытыми, и всё равно я дважды свернул не туда.

Матери я объявил, что иду к Гоше делать уроки. Мать посмотрела на меня с подозрением, но отпустила: в воскресенье она отсыпалась после смены, и спорить ей было лень. Нинка, которая слышала разговор из своего угла, высунула голову из-за занавески и одними губами произнесла: «Врёшь». Я погрозил ей кулаком. Она высунула язык.

Береговая улица тянулась вдоль реки, по самому краю обрыва. Дома здесь были старые, ещё дореволюционные: на каменных цоколях, с резными наличниками, с высокими крышами под железом. Некоторые покосились, у некоторых окна были заколочены досками. Сарма внизу текла широкая, мутная, по-весеннему полноводная, и несла на себе ветки, пучки соломы и обломки льда, который откуда-то ещё приплывал с верховьев.

Дом Штерна стоял последним, у самого спуска к воде. Небольшой, деревянный, когда-то выкрашенный в голубой цвет, а теперь облупленный до серого. Палисадник за низким забором зарос сиренью и шиповником. На крыльце лежала кошка, рыжая, толстая, и при моём появлении приоткрыла один глаз.

Я постучал.

Долго никто не отвечал. Потом за дверью послышалось шарканье, постукивание палки по полу, и створка открылась.

На пороге стоял старик. Маленький, сухой, сгорбленный, в вязаной кофте поверх рубашки и в стоптанных войлочных тапочках. Седые волосы торчали над ушами венчиком, лысину прикрывала потёртая тюбетейка. Лицо было морщинистое, тёмное, как печёное яблоко, а глаза за толстыми стёклами очков казались огромными и очень живыми. В правой руке он держал палку с резиновым наконечником.

Он смотрел на меня секунды три. Потом лицо его дрогнуло.

- Костя, - голос был тихий, надтреснутый, с лёгкой картавостью. - Костя, мальчик мой. Живой.

Он шагнул вперёд, бросив палку, и обнял меня. Обнял неловко, по-стариковски, похлопывая по спине сухой ладонью. От него пахло табаком, нафталином и старыми книгами.

- Мне сказали, тебя в больницу. Сказали, ты память потерял. Я хотел прийти, но Валентина Семёновна… - он отстранился и посмотрел на меня снизу вверх. - Твоя мама меня не любит. Она считает, это я тебя на курганы таскаю. И правильно. Таскаю. Таскал. Господи.

- Ефим Маркович, - я поднял его палку и вложил ему в руку. - Можно войти?

Он посмотрел на меня внимательно, как будто что-то в моём голосе его удивило. Потом кивнул и отступил в сторону.

Внутри дом оказался музеем.

Не в переносном смысле. В буквальном. Каждый сантиметр стены от пола до потолка занимали полки, и на полках стояли книги, папки, коробки, свёрнутые в трубки карты. Между полками висели фотографии в рамках: пожелтевшие, коричневатые, с людьми в старомодных шляпах и сапогах, стоящими у раскопов. На подоконниках лежали черепки, кремнёвые наконечники, ржавые обломки железа, каждый с бумажной этикеткой. В углу стоял старинный граммофон с медной трубой. На столе посреди комнаты - самовар, начищенный до блеска, вазочка с вареньем и стопка бумаг, придавленная куском базальта.

Я стоял на пороге и не мог пошевелиться.

Так выглядел кабинет моего учителя. Профессора Лаврентьева, у которого я учился на истфаке в восьмидесятых. Те же полки, те же папки, тот же запах. Лаврентьев умер в девяносто четвёртом, и его библиотеку растащили по букинистам за два года. Я тогда был молодой, нищий и ничего не смог сделать.

- Садись, садись, - Штерн указал палкой на стул у стола. - Чай будешь? Самовар горячий, я как раз собирался.

- Буду. Спасибо.

Он налил чай в чашку с отбитой ручкой, подвинул мне вазочку с вареньем, сел напротив. Положил руки на стол, сцепил пальцы. Пальцы у него были узловатые, в пятнах, и чуть дрожали.

- Ну, - он помолчал. - Рассказывай. Что помнишь, что забыл.

- Почти ничего не помню, Ефим Маркович. Помню, как дед вытащил. А до этого - пусто.

- И меня не помнишь?

- Нет. Извините.

- Не извиняйся, - Штерн махнул рукой. - Память - капризная дама. Я в сорок девятом году, на лесоповале, получил бревном по голове и три месяца не мог вспомнить, как зовут мою жену. А потом память вернулась. Сразу, в один день. Проснулся утром и вспомнил. Только к тому времени она уже второй год как была замужем за другим.

Он произнёс это спокойно, почти весело, но я заметил, как дёрнулись его пальцы.

- Как же вы узнали, что я ничего не помню? - спросил я.

- Весь город знает, Костя. Это маленький город. Тут если кто чихнёт на Степной, на Береговой говорят «будь здоров».

Я отпил чаю. Чай был крепкий, заваренный с какой-то травой, мятой или чабрецом. Варенье - вишнёвое, с косточками.

- Ефим Маркович, - я поставил чашку. - Мне нужна ваша помощь.

- Говори, слушаю.

- Сначала про пятый курган. Тот, что на трассе канала.

Я рассказал. Про пробный проход, про кость на гусеничном следу, про тёмное пятно в срезе и зелёный край бронзового диска с петелькой на обороте. Про Гладких и про дедово «не поеду по костям». Про понедельник, семь утра.

Штерн слушал, подавшись вперёд. Когда я дошёл до зеркала, он схватил меня за руку.

- С боковой петлёй? Ты уверен?

- Уверен. Петля сбоку, на обороте. Ободок с насечками.

- Сармат, - выдохнул старик. - Впускной сармат. В тридцать шестом Арсеньев говорил, что в полах здешних курганов их и надо искать. Мы не успели проверить. Господи, тридцать пять лет…

Он отпустил мою руку и откинулся на спинку стула.

- Кости - это милиция, - твёрдо произнёс он. - Тут ты прав. Иди к Пахомову сегодня же. Он парень честный, хоть и молодой. Пусть приедет к семи утра и составит бумагу. С бумагой Гладких ничего не сделает.

- А дальше? Бумага остановит его на день. На два.

- Дальше нужен кто-то из Москвы. Кто-то, кого Гладких испугается больше, чем своего начальства, - Штерн пожевал губами. - Есть один человек. Вадим Чернов. Аспирант Института археологии. Его научный руководитель - ученик Арсеньева, мы с ним переписываемся. А Вадим пишет мне раз в год, на Новый год, открытку. В прошлой писал, что летом у них новостроечная экспедиция по оросительным системам юга. Может, и в наши края.

- Ему нужно написать.

- Письмо идёт до Москвы неделю.

- Тогда телеграмму.

Штерн посмотрел на меня поверх очков.

- Телеграммой про сармата не напишешь. Её надо составить так, чтобы человек бросил всё и приехал. Это искусство, Костя. Ладно. Об этом завтра. Ты сначала скажи, зачем ты на самом деле пришёл.

Я достал из кармана Костину записку и положил на стол. Штерн надел вторые очки поверх первых, наклонился и прочитал. Медленно, шевеля губами. Потом снял вторые очки и долго смотрел в окно.

- Где ты это нашёл?

- Мне Лида Гордеева отдала. Одноклассница. Я ей во вторник книжку дал, а там внутри лежало.

- Значит, он всё-таки собирался, - тихо пробормотал Штерн. - Собирался мне сказать.

- Что сказать?

Старик долго молчал. Потом встал, опираясь на палку, проковылял к полкам в дальнем углу и снял с нижней полки потёртую картонную папку с завязками. Принёс, положил на стол. Развязал.

В папке лежали листы. Тетрадные, в клеточку, с неровным краем. Штук десять. Исписанные тем же мелким Костиным почерком.

- Он принёс мне это во вторник вечером, - Штерн положил ладонь на листы. - Шестого. Пришёл поздно, уже темнело. Весь трясся. Вырвал прямо при мне из тетради, отдал и попросил спрятать. Сказал: Ефим Маркович, тут всё. Только никому не показывайте, пока я сам не скажу. Ни маме, ни милиции. Я спросил, что случилось. Он не ответил. Сказал: завтра всё объясню. И ушёл.

- А ночью полез в курган.

- А ночью полез в курган, - Штерн снял очки и протёр их краем кофты. - Я узнал в среду утром. Сидел вот тут, на этом месте, и смотрел на эту папку. Я обязан был пойти в милицию. Знаю. Но он просил не показывать. А я… Я, Костя, старый трус. Меня тридцать четыре года назад забрали за то, что я много знал про один курган и слишком громко об этом говорил. Восемнадцать лет. Так что когда мальчик просит меня молчать, я молчу. Это у меня в крови теперь. Как соль.

Он придвинул папку ко мне.

- Читай. Это твоё.

Я взял первый лист.

Почерк был ровный, аккуратный, как в начале тетради. Костя писал не наспех, а продуманно. Как отчёт.

«Начало: 2 марта 1971 г. Г. Сычёв подошёл после кружка в музее. Спросил, правда ли, что в 1936 г. у Гнилой балки нашли золото. Я сказал, что да, в кургане 1, по рассказам Е. М. Он спросил, а в других курганах может быть? Я сказал, что может, но копать нельзя, это памятники.

7 марта. Г. снова. Принёс сигареты (я не курю), предложил покататься на мотоцикле дяди. Говорил про армию, про Москву, про то, что в Москве за старинные вещи платят тысячи. Спросил, могу ли я нарисовать, где какие курганы и насколько они высокие.

10 марта. Нарисовал схему. Г. показал её дяде (Гладких Б. Т.) и ещё одному человеку на серой «Волге». Я его самого не видел, только машину.

14 марта. Г. принёс план. Старый, на кальке, с печатью. Печать музея! «Сарматовский районный краеведческий музей. Архив». План кургана 4, раскоп 1936 г. (недоделанный). Там стрелка, где хотели копать дальше, но не успели. Г. сказал: это нам дал один хороший человек, который тоже хочет, чтобы курганы не пропали зря. Я спросил кто. Он сказал: «Очкарик твой». Я понял, что Шубин».

Я поднял глаза от листа. Штерн смотрел на меня не мигая.

- Читай дальше.

«18 марта. Первая ночь у кургана 4. Г., я и ещё один, большой, его зовут Лёха (не знаю фамилии, пахнет водкой). Копали с юга, по стрелке. Я держал фонарь. Лёха копал. Г. выносил землю в мешках.

22, 25, 29 марта, 1 апреля. Ещё ночи. Лёха больше не приходил, копали вдвоём с Г. Я тоже копал. Устал.

3 апреля. Г. говорит, ещё две ночи - и будем в камере. Я ответил, что больше не хочу. Он: «Поздно». Пригрозил, что если я перестану, он всем расскажет, будто я сам всё придумал и что я его уговорил. И что меня посадят, а мама потеряет работу.

5 апреля. Был в музее на кружке. Смотрел на оленя в витрине (инв. 412, курган 1, 1936 г.). Смотрел на свету, сбоку. По краю, где рога, есть тонкий шов, как от формы. И цвет не тот. Он не настоящий. Это гальванопластика. Я знаю, я читал про это в «Знание - сила» в прошлом году. Настоящего оленя в витрине нет».

Я опустил лист.

Костя. Шестнадцатилетний Костя, которого дразнили Профессором, который не умел поднять ведро воды и боялся съезжать с горки на велосипеде. Костя заметил шов гальванопластики на музейной витрине. Без лупы. Без опыта. Без единого дня полевой практики. Только потому, что прочитал статью в журнале и потому, что смотрел. Смотрел по-настоящему, а не так, как смотрят на витрины все остальные.

Я сорок лет учил студентов смотреть. Из сотни, может, двое научились.

Штерн провёл ладонью по листам, как по голове ребёнка.

- Он был очень хороший мальчик. Лучший из всех, кто ко мне приходил за тридцать лет. Он видел вещи. Понимаешь? Видел.

Был. Старик употребил прошедшее время.

Я посмотрел на старика. Он сидел, сгорбившись над столом, и смотрел на меня поверх очков. Очень внимательно.

Я взял следующий лист.

«6 апреля. Вечер. Иду к Е. М. Отдам ему всё это. Сегодня Г. сказал, что ночью будем в камере. Сказал, что я полезу внутрь, потому что я худой. Я пойду. Если я не пойду, он сделает, как обещал. Но если там будет олень, второй, парный к музейному, я его не отдам. Я его спрячу и отнесу Е. М. и в милицию, Пахомову. И всё расскажу. Пусть меня посадят. Мне всё равно.

Шубину нельзя ничего говорить. Шубин с ними».

Больше листов не было.

Я сложил их стопкой, выровнял края. Руки у меня не дрожали. Сорок лет полевой работы научили меня, что руки не должны дрожать, когда ты держишь что-то важное. Даже если всё внутри переворачивается.

Значит, вот как было. Мальчишка знал, что идёт на преступление, и шёл, потому что его шантажировали. Шёл, чтобы добыть доказательство. Нашёл. Спрятал. А потом лаз обвалился, и Генка убежал с фонарём, оставив его в темноте.

И Костя умер там. В завале. Задохнулся, пока дед раскапывал землю руками.

А потом в его тело...

Мне вдруг стало трудно дышать, как тогда, в завале. Всю неделю я думал о Косте как о чужом теле, в котором мне не повезло проснуться. О неудобной одежде, которую надо носить, пока не найдёшь другую. А он был человеком. Маленьким, испуганным и храбрым. Он не хотел, он плакал у Штерна на кухне, и он всё-таки пошёл, потому что решил, что так правильно.

Я занял место мальчика, который погиб, пытаясь поступить честно. Не я это выбрал. Но доделывать теперь было мне.

Хорошо, Костя. Договорились. Твой олень попадёт туда, куда ты хотел.

- Ефим Маркович, - голос у меня осип, и я откашлялся. - В тридцать шестом году вы были на раскопках у Гнилой балки?

- Был, - Штерн кивнул. - Я был лаборантом в экспедиции краевого музея. Мне было тридцать семь лет. Начальником был профессор Арсеньев, из Ростова. Великий человек. Мы раскопали первый курган, нашли оленя. Начали четвёртый. А потом…

- А потом?

- А потом пришли люди и забрали Арсеньева. В тридцать седьмом, в феврале. Он слишком громко возражал, когда начальство захотело отдать находки «на нужды индустриализации». А в мае забрали меня. Как его сообщника. Четвёртый курган так и остался недокопанным. С недоделанным планом. Тот самый план, - Штерн кивнул на листы. - Я его чертил своими руками. Тридцать пять лет назад. На кальке.

- И этот план лежал в архиве музея?

- Он должен был там лежать. Вместе с полевым дневником и описью находок. Я, когда вернулся в пятьдесят пятом, первым делом пошёл в музей, посмотреть. Всё было на месте. Опись, дневник, план. И олень в витрине. Я тогда стоял перед стеклом и ревел, как дурак, Костя. Восемнадцать лет я думал о нём каждый день. И он был на месте.

- А сейчас?

Штерн долго молчал.

- Сейчас не знаю, - Штерн отвёл глаза. - Шубин стал директором в шестьдесят третьем. Через год он меня из музея попросил. Вежливо. Сказал, что возраст, что здоровье, что надо дать дорогу молодым. Ключей от архива у меня больше нет. А в витрину я после этого заходить перестал. Не мог видеть, как он там распоряжается.

- Значит, вы не знаете, настоящий олень в витрине или нет.

- Не знаю. Мальчик говорит - нет. Я ему верю. Он видел вещи.

- А каким он был? - спросил я. - Олень. Вы его помните?

Штерн впервые за весь разговор улыбнулся.

- Как собственную руку. Я его сам из земли доставал. Девятого августа тридцать шестого года, в десятом часу утра. Он лежал у левого бедра погребённого, рогами вниз, вместе с остатками колчана. Длина - пятьдесят четыре миллиметра, высота - тридцать один. Вес - двадцать шесть граммов с чем-то, точнее уже не помню. А на левом роге, на самом кончике, был скол. Древний, с патиной внутри. Арсеньев ещё шутил, что олень бодался с кем-то и проиграл.

Я запомнил цифры. Пятьдесят четыре на тридцать один. Скол на левом роге. Оленя под вишней на Степной я в ту ночь видел при свете фары, недолго, и рога его на сколы не рассматривал.

- У вас остались фотографии?

- Где-то есть, - старик обвёл взглядом полки. - Полевые, тридцать шестого года, если не все пропали. И есть снимок витрины пятьдесят шестого года. Меня тогда районная газета фотографировала, когда я вернулся. «Ветеран краеведения у экспозиции». Поищу.

Я допил остывший чай. В комнате тикали часы, большие, настенные, с маятником. Рыжая кошка, которая успела пробраться в дом следом за мной, запрыгнула на подоконник и улеглась среди черепков, как на подушках.

- Ваша память - это хорошо, - я поставил чашку. - Но нужна бумага. У вас сохранилась опись находок? Копия. Хоть что-нибудь, где описан олень. С размерами, с особыми приметами. С фотографией.

Штерн удивлённо поднял брови.

- Зачем тебе?

- Затем, что если сравнить опись тридцать седьмого года с тем, что сейчас лежит в витрине, станет ясно, подменили его или нет. Размеры гальванокопии почти всегда чуть меньше оригинала. Металл при осаждении садится. Миллиметр, полтора. Если в описи записаны точ-

ные размеры, этого хватит. А если есть фотография, где видны какие-нибудь дефекты, сколы, потёртости, то и подавно. Копию снимают с формы, а форму делают с оригинала, но мелкие повреждения при этом часто сглаживаются или пропадают.

Я говорил и смотрел, как меняется лицо Штерна. Сначала удивление. Потом недоверие. Потом что-то третье, чего я не мог понять. Он медленно снял очки и положил на стол.

- И ещё, - я продолжал, потому что остановиться уже не мог. - Нужен полевой дневник тридцать шестого года. Если план кургана номер четыре вынесли из архива, то, скорее всего, прихватили и полевые записи. И если тетради на месте нет, это само по себе доказательство. Потому что она никому, кроме специалиста, не нужна. Значит, его взял кто-то, кто знал, что в нём искать.

Штерн молчал.

- Нужно проверить архив музея, - закончил я. - Официально. С участием кого-нибудь со стороны. Из области или из Москвы. Тогда Шубин не сможет…

- Костя, погоди.

Я замолчал.

Штерн сидел напротив, без очков, и смотрел на меня. Глаза у него без толстых стёкол оказались маленькими, бесцветными, в красных прожилках. И очень, очень внимательными.

- Знаешь, - он заговорил медленно, взвешивая каждое слово. - Я три года тебя учил. Рассказывал про курганы, про скифов, про Арсеньева. Ты слушал, записывал, рисовал. Ты был очень способным мальчиком. Ты видел вещи. Но ты никогда не говорил так.

- Как это?

- Как он, - Штерн кивнул на одну из фотографий на стене. Пожелтевший снимок: группа людей у раскопа, в центре высокий человек в шляпе и с трубкой. - Как Арсеньев. Те же слова. Та же интонация. «Металл при осаждении садится». «Это само по себе доказательство». Он так говорил, когда объяснял студентам. Я помню каждое слово, Костя. Тридцать пять лет помню.

Я ничего не ответил.

Старик надел очки. Глаза снова стали огромными, живыми.

- Мой профессор умер в лагере в тридцать девятом году, - тихо произнёс он. - Я сам его хоронил. Без гроба, в мёрзлой земле. Я знаю, что он умер. Я в мистику не верю. Я материалист, меня так учили, и восемнадцать лет лагерей эту науку только укрепили.

Он наклонился ко мне через стол.

- Так кто ты такой, мальчик?

Глава 8

Сарматовск, воскресенье, 11 апреля 1971 года. Береговая — Октябрьская — Степная.

Я долго молчал. Кошка на подоконнике потянулась, зевнула и снова свернулась клубком. Часы на стене тикали так громко, что казалось, они отсчитывают не секунды, а мои шансы.

Соврать? Сказать, что читал книжки, что запоминал всё, что слышал от него же, от Штерна, три года подряд? Старик бы не поверил. Он не для того восемнадцать лет выживал в лагерях, чтобы верить первому попавшемуся объяснению.

Сказать правду? Что меня зовут Глеб Андреевич Седов, что я родился в шестьдесят пятом году, через четверть века с лишним после того, как Штерн похоронил Арсеньева в мёрзлой земле, а умер в две тысячи двадцать шестом, в траншее на стройке, под четырьмя метрами мокрого суглинка? Что я знаю, как будут грабить курганы в девяностые, кто станет директором Эрмитажа и чем кончится Советский Союз?

Он был материалистом. Сам об этом обмолвился. Его так учили, и восемнадцать лет лагерей эту науку только укрепили. Если я скажу правду, он решит, что мальчик после удара по голове сошёл с ума. И будет прав. Любой нормальный человек решил бы так же.

— Я не знаю, Ефим Маркович, — наконец ответил я. — Честно. Не знаю, кто я.

Он ждал.

Я подбирал слова медленно, как черепки из развала, по одному.

— Когда меня откопали, я очнулся и ничего не помнил. Ни маму, ни деда, ни вас. Ни как меня зовут. Но в голове было… много всего. Как будто кто-то поставил туда шкаф с чужими книгами. Я знаю, как отличить гальванику от литья. Знаю, как пишут полевой отчёт. Знаю, что такое впускное погребение и как датировать сарматское зеркало по петле. Я не помню, откуда я это знаю. Просто знаю.

— Чужие книги, — повторил Штерн.

— Может, это ваши книги. Может, я их читал, а потом удар выбил всё прочее, а это уцелело. Я не знаю. Бондаренко говорит, при сотрясении бывает всякое.

Старик долго смотрел на меня. Потом снял очки, протёр их краем кофты и надел снова.

— Бывает всякое, — согласился он. — В пятидесятом году к нам в барак привезли человека с Печоры. Он упал с лесов, ударился головой и очнулся, разговаривая на латыни. Сам не знал, откуда. Через полгода латынь прошла, и он снова стал просто бухгалтером. Врачи сказали, у него в детстве был учитель-латинист, а потом всё забылось. И вспомнилось от удара.

— Вот видите.

— Вижу, — Штерн медленно кивнул. — Вижу, что ты мне не всё говоришь. Но это не важно. Важно, что ты пришёл. И что ты хочешь доделать то, что начал он. То есть ты.

Он запнулся.

— То есть он. Или ты. Я старый, Костя, я путаюсь в словах.

Он не путался. Он просто давал мне понять, что заметил. И что ему этого достаточно. Пока.

— Иди к Пахомову, — Штерн встал, опираясь на палку. — Прямо сейчас. Опорный пункт в воскресенье закрыт, значит, иди домой к нему. Он живёт на Октябрьской, в доме с синей калиткой, напротив пекарни. Расскажи про кости. А про листки пока не рассказывай.

— Почему пока не рассказывать?

— Потому что Пахомов — милиционер. Если он узнает, что ты месяц копал курган, он обязан будет это записать. А мальчика, который рыл с ними землю, даже под угрозой, по головке не погладят. Сначала нужно, чтобы те, кто его принудил, оказались под замком. А уже потом можно и правду.

Он был прав. Это был ровно тот совет, который дал бы я сам, если бы ко мне пришёл испуганный студент с такой историей. Только я бы думал над ним дольше.

— Ефим Маркович, — я встал. — Спасибо.

— За что?

— За то, что не выгнали.

Он махнул рукой, но я видел, что ему приятно.

У двери он задержал меня, положив руку на плечо.

— Костя. Или как тебя теперь. Будь осторожен. Те люди, которые грабят курганы, редко бывают добрыми. Арсеньева погубили не грабители, а начальство, но разница, поверь мне, невелика.

***

До Октябрьской было минут двадцать через центр.

Воскресный Сарматовск выглядел так, будто его нарисовали для открытки к Первому мая. В сквере за площадью на лавочках сидели старушки в платках и лузгали семечки. На танцплощадке, огороженной зелёным штакетником, ещё было пусто, только парень в клетчатой рубашке возился с проводами у колонки, и та то хрипела, то выплёвывала обрывок песни. У кинотеатра «Октябрь» стояла очередь в кассу человек на тридцать, а с афиши на неё смотрела нарисованная от руки красавица с огромными глазами и подписью «Индийский фильм. Две серии».

У ларька с мороженым толпились дети. Пломбир в вафельном стаканчике — девятнадцать копеек, эскимо — одиннадцать. Я пересчитал в кармане то, что осталось после школьной столовой: четыре копейки, трёхкопеечная монета и екатерининский пятак, которым здесь, к сожалению, не расплатишься. Семь копеек. На эскимо не хватало. Шестидесятилетний доктор наук, автор трёх монографий, стоял у ларька и завидовал первоклашке с мороженым.

Рядом с ларьком стояла телефонная будка. Красная, с выбитым стеклом в двери. Внутри на цепочке висела чёрная трубка, а на аппарате была табличка: «Плата за разговор — 2 коп.».

Я остановился и смотрел на неё.

Две копейки. Можно опустить монету, набрать номер. Только какой? Номер Веры в Петербурге заведут через пятьдесят лет. Сама Вера родится через девятнадцать. А Наденьке сейчас четыре года, и она живёт в Таганроге, в доме с садом, и ещё не знает, что когда-нибудь выйдет замуж за длинного очкарика с истфака.

А Глебу Седову сейчас шесть.

Мысль ударила так, что я схватился за край будки. Где-то в двухстах километрах отсюда, в Ростове, в коммуналке на Нахичеванском переулке, сейчас живёт мальчик Глеб. Ходит в детский сад. Боится темноты. У него есть мама, которая работает на швейной фабрике. Папы уже нет: два года как ушёл. Он ещё ничего не знает про курганы. Он мечтает стать водителем автобуса.

Я мог бы сесть на автобус до Ростова, найти этот переулок и посмотреть на него. На себя.

И что потом? Подойти и сказать: «Привет, я — это ты, только старше и в чужом теле»?

Я отпустил край будки и пошёл дальше. Быстро, не оглядываясь. Об этом я подумаю потом. Когда-нибудь. Когда разберусь с тем, что здесь.

Синюю калитку напротив пекарни я нашёл быстро. Пекарня пахла на всю улицу, тёплым хлебом и дрожжами, и я невольно сглотнул. Дом за калиткой был маленький, беленький, в два окна, с геранью на подоконниках. У крыльца стоял знакомый мотоцикл с коляской, накрытый брезентом.

Дверь открыла молодая женщина. Светлые кудрявые волосы, круглое лицо, ситцевый халат, на руках — младенец в пелёнках, туго запелёнатый, как куколка. Женщина посмотрела на меня удивлённо.

— Вам кого?

— Виктора Павловича. Я Рябинин. Костя. Он меня…

— А, это ты, — лицо её разгладилось. — Тот, из кургана. Витя говорил. А его нет. Его на Кирпичный хутор вызвали, там у кого-то корова пропала. К вечеру, сказал, будет.

— А можно я записку оставлю?

— Оставь, конечно, — она перехватила младенца поудобнее. — Только он всё равно к вам заедет. Он сегодня утром говорил, что надо к Рябининым заехать. Что-то у него к тебе есть.

— А что у него ко мне?

— Не знаю. Он мне про работу не рассказывает. Говорит, нечего мне голову забивать. Ну, иди. Скажу, что ты приходил.

Записку я всё-таки оставил. Короткую, на листке из блокнота, который она дала: «Виктор Павлович. На трассе канала у кургана 5 найдены человеческие кости. Гладких хочет в понедельник в 7 утра срезать всё бульдозером. Нужен ваш акт. К. Рябинин». Перечитал. Слишком по-взрослому и чётко. Но переписывать было некогда.

Домой я вернулся к трём. Мать уже встала и гремела на кухне посудой. Нинка сидела за столом и делала вид, что учит уроки, а на самом деле рисовала в тетради лошадей. Отец спал в зале на диване, отвернувшись к стене, в майке и галифе, и от него пахло чем-то кислым.

Мать посмотрела на меня через плечо.

— Как у Гоши?

— Нормально. Уроки сделали.

— Какие уроки?

— Алгебру с геометрией, — я пошёл к своей комнате, чтобы не продолжать разговор. Мать проводила меня взглядом, но ничего больше не спросила.

На подушке в моей комнате лежал свёрток. Плоский, завёрнутый в газету «Сарматовская правда» и перевязанный бечёвкой. На газете карандашом было выведено: «К. Р. от Л. Г.».

Я развернул газету.

Внутри был лист ватмана, а на нём — Гагарин.

Не мой злобный уродец со съехавшими глазами, а настоящий Гагарин, нарисованный карандашом, с тенями и растушёвкой. Молодой, в шлеме с надписью «СССР», с той самой улыбкой, которую знает весь мир. Рисунок был живой, тёплый, и Гагарин на нём смотрел чуть в сторону, как будто увидел что-то хорошее за краем листа.

В углу, мелко, стояло: «Л. Г. 10.04.71».

— Это Лидка Гордеева принесла, — Нинка стояла в дверях и смотрела на рисунок с завистью. — Утром, пока тебя не было. Говорит, тебе в школу нужно, ты знаешь зачем. Велела положить на подушку и никому не показывать. Я и не давала никому. Только маме.

— Нин, погоди…

— А что? Мама сама спросила, что за свёрток. Я ответила, что от девочки. А мама: «Ну-ну».

Я посмотрел на рисунок, потом на Нинку.

— Нин, а откуда Лида знает, что мне портрет нужен?

— Так ей Светка вчера сказала, что ты рисовать разучился, — Нинка пожала плечами. — И что ты её позоришь. А Лидка взяла и нарисовала. Она вообще хорошо рисует. Лучше тебя. Ты раньше всегда злился, когда тебе это говорили.

— Больше не злюсь.

— Это я уже поняла, — Нинка вздохнула с видом многоопытной женщины. — Ты вообще больше не злишься. Даже скучно.

Она ушла. Я сидел на кровати с рисунком на коленях и думал, что Лида Гордеева, тихая девочка с косой, которая рисует цветочки, за один день сделала для меня больше, чем все остальные. Она не знала, что спасает мне шкуру в понедельник. Она просто увидела, что мальчику нужна помощь, и помогла. Без вопросов.

В моей прошлой жизни мне так помогала только Наденька. И то не сразу, а лет через пять после свадьбы.

Деда я нашёл в сарае. Он сидел на перевёрнутом ведре под лампочкой без абажура и перебирал какую-то железку, разложив детали на мешковине. Пахло машинным маслом и опилками.

— Деда, завтра в семь Пахомов приедет к пятому кургану. Акт составит. Работы остановят.

Дед поднял голову. Долго смотрел на меня.

— Это ты его позвал?

— Я. Записку оставил.

— Записку, — дед снова склонился над железкой. Повертел в пальцах какую-то шайбу, примерил к болту. — Тимофеич меня за это съест. Он и так думает, что это я тебя научил.

— Ты же не научил.

— А кому это интересно? — дед вздохнул. — Ладно. Сделал, значит, сделал. Мне по костям всё равно не ехать. Так хоть с бумагой.

Он затянул гайку и отложил деталь в сторону.

— Костя, — голос у деда стал тише. — Ты про отца что-нибудь знаешь?

— Что знаю?

— Ну, про долг его. Кулешову.

Я покачал головой. Кулешов. Фамилию я уже слышал от Гоши: Генка, мол, «с Кулешовскими водится». Пакет внутри меня сам собой раскрылся, чтобы принять её ещё раз, теперь с адресом.

— Кто это, деда?

— Завмаг. Универмаг у нас на площади, так он им заведует. Важный человек, на серой «Волге» ездит, — дед поморщился, как от зубной боли. — Отец у него в прошлом году на холодильник занял. Потом ещё на ковёр, матери к празднику. Думал, с премии отдаст. А премию ему срезали. Вчера ночью, я слышал, Кулешов к калитке приезжал.

— Я тоже слышал.

— Вот, — дед вытер руки ветошью. — Ты матери пока не говори. Она не знает, сколько там. Думает, рублей пятьдесят. А там, мне кажется, побольше.

— А сколько там?

— Не знаю. Отец не говорит. Он гордый, Колька. Он скорее удавится, чем попросит.

Мы помолчали. Лампочка под потолком мигнула и снова загорелась ровно.

— Деда, — я присел на корточки рядом с ним. — А почему Кулешов приехал именно вчера? Сразу, как только отец вернулся из рейса?

Дед посмотрел на меня. Потом нарочито неторопливо отложил ветошь.

— Ты на что намекаешь?

— Ни на что. Просто спрашиваю.

— Просто, — повторил дед, глядя куда-то мимо меня, в темноту сарая. — Ничего у тебя теперь не бывает просто, Костя.

Пахомов приехал в восьмом часу, когда уже стемнело.

Я услышал мотоцикл издалека: его ни с чем нельзя было перепутать. Мотор затих у калитки, залаял Жулик, хлопнула дверь в сенях. Мать вышла встречать.

— Виктор Палыч? Что-то случилось?

— Добрый вечер, Валентина Семёновна. Ничего не случилось. Мне бы с Костей поговорить. Можно?

— Проходите, конечно.

Пахомов вошёл в кухню, снял фуражку и пригладил волосы. Он был в той же шинели, что и в ночь у кургана, только теперь она была в грязи до колен, а на сапогах налипли комья глины. Видимо, корову на Кирпичном хуторе искали не по асфальту.

Отец сидел за кухонным столом и пил чай. При виде Пахомова он медленно поставил кружку и выпрямился. Лицо у него стало каменным.

— Здорово, Николай, — Пахомов кивнул ему.

— И тебе, — отец не поднялся.

Пахомов сел на табурет напротив меня. Мать поставила перед ним кружку, налила чаю, придвинула сахарницу и блюдце с сушками. Пахомов поблагодарил, но к чаю не притронулся.

— Получил твою записку, Рябинин, — он достал из нагрудного кармана сложенный листок. — Жена отдала. Это правда? Про кости?

— Правда, Виктор Павлович. Вчера, при пробном проходе. Мы с дедом видели. Бригадир Гладких видел. И ещё один парень с базы.

— Какой парень?

— Генка. Сычёв.

Пахомов поднял глаза.

— Ты же его не помнишь.

— Не помню. Он сам представился.

— Ясно, — Пахомов развернул записку и перечитал её. — Значит, в понедельник в семь утра?

— В семь. Гладких деду так и объявил: срезай или пиши заявление.

Отец за спиной Пахомова шевельнулся.

— Какое ещё заявление? — голос у него был хриплый. — Отец ничего не говорил.

— Деда не хотел тебя расстраивать, пап.

— Не хотел расстраивать, — отец невесело хмыкнул. — У нас тут все друг друга берегут.

Мать бросила на него быстрый взгляд и промолчала.

— Хорошо, — Пахомов спрятал записку обратно в карман. — Буду в семь. Акт составлю. Если кости людские, а судя по всему, так и есть, работы на этом участке приостанавливаются до заключения специалиста. Это я тебе обещаю.

— Спасибо вам.

— Не за что. Это моя работа, — он помолчал. — А теперь ответь мне на один вопрос. Только честно.

— Спрашивайте, отвечу.

— Откуда ты знаешь про акт? Про приостановку работ? Про заключение специалиста? Тебе шестнадцать лет. Ты неделю назад, по словам твоей матери, не мог отличить милицейский протокол от квитанции за электричество.

В кухне стало тихо. Мать перестала мыть посуду. Отец смотрел на меня поверх кружки. Нинка, которая подслушивала из-за занавески в коридоре, затаила дыхание так громко, что это было слышно.

— Мне Ефим Маркович объяснил, — я ответил спокойно, глядя Пахомову в глаза. — Я сегодня у него был. Я ему рассказал про кости, а он сказал, что это милиция. И что нужен акт.

Мать за моей спиной тихо ахнула.

— Опять у Штерна, — выдохнула она.

— Мам, я к Гоше тоже заходил. Потом.

— Не ври матери, — неожиданно резко бросил отец.

Пахомов поднял руку, останавливая их.

— Хорошо. Штерн. Это объясняет, — он посмотрел на меня ещё раз, долго, оценивающе. — Штерн умный старик. Он бы тебе такое объяснил. А вот откуда ты знаешь, как с бригадиром

разговаривать? Мне Гуров вечером рассказал, как ты Гладких отбрил. При всех. Про сокрытие, про статью, про учёт. Так даже я не умею.

— Деда преувеличивает.

— Гуров никогда не преувеличивает. Я его десять лет знаю, — Пахомов отодвинул кружку. — Ладно. Не хочешь — не говори. Я тебе другое скажу.

Он придвинул табурет ближе и понизил голос.

— Я сегодня был на Кирпичном хуторе. Не только из-за коровы. Там у колхозной кошары, у лесополосы, есть сторож. Дед Матвей Кравченко. Ему восемьдесят, он глухой на одно ухо, но глаза у него как у ястреба. И не спит по ночам. Говорит, от старости.

Я ждал.

— Дед Матвей говорит, что в ночь со вторника на среду, около полуночи, у лесополосы стояла машина. С выключенными фарами. Он сначала подумал, что угонщики, хотел идти посмотреть, но ноги не те. А потом из балки пришли двое. Один большой, другой маленький. Маленький шёл впереди, с фонарём. Большой — сзади, с лопатой. Они прошли мимо машины к курганам.

— А машина?

— Машина осталась. Часа через два из балки кто-то прибежал, один. С фонарём. Сел, и машина тронулась. Быстро, без фар до самой дороги.

Один. С фонарём. Генка.

— Какая машина? — спросил я.

Пахомов помолчал.

— Дед Матвей говорит, светлая. Большая. С хромированной решёткой. Он такие видел на картинках в журнале «За рулём». И мотор, говорит, тихий был. Почти не слышно.

— Неужели «Волга»?

— «Волга», — Пахомов кивнул. — Серая.

Отец резко поставил кружку на стол. Чай выплеснулся на клеёнку. Мать оглянулась на него, но он не сводил глаз с окна. Туда, где у калитки прошлой ночью стояла машина с тихим мотором.

Пахомов это уловил. Глаза у него чуть сузились, как у человека, который поймал на крючок что-то тяжёлое.

— Николай, — тихо произнёс он. — Ты чего?

— Ничего, — отец поднялся, громыхнув табуретом. — Устал. Спать пойду.

Он вышел из кухни, не оглядываясь. Мать посмотрела ему вслед, потом на Пахомова, потом на меня. Лицо у неё было белое.

Пахомов долго сидел молча. Потом взял кружку и наконец выпил свой остывший чай. Залпом, как водку.

— Ладно, — он поднялся и надел фуражку. — Спасибо за чай, Валентина Семёновна. Рябинин, до завтра. В семь у пятого кургана. Деда предупреди.

— Виктор Павлович, — я встал тоже. — А чья она? «Волга»?

Пахомов остановился в дверях. Посмотрел на меня, потом на дверь в зал, за которой скрылся отец.

— Серая «Волга» у нас в районе одна, Рябинин, — медленно произнёс он. — Одна-единственная. Это я тебе как участковый говорю. А чья она, ты, наверное, и сам скоро узнаешь.

Он вышел. Через минуту затарахтел мотоцикл и стих за поворотом.

Мать стояла посреди кухни, держа в руках мокрую тарелку, и смотрела на меня. Не как на сына. Как на чужого человека, который сидит у неё за столом.

— Костя, — тихо позвала она. — Что происходит?

Я не знал, что ей ответить. И впервые за всю эту неделю мне было по-настоящему страшно. Не за себя.

За них.

Глава

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.